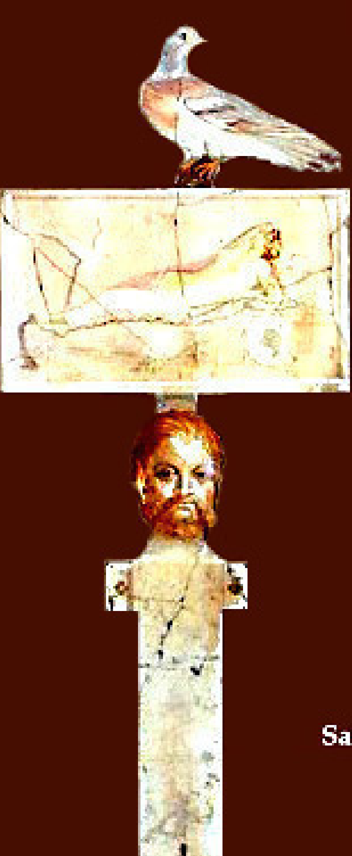
Роман Шмараков

ПОД БУКОВЫМ КРОВОМ



Salamandra P.V.V.

Salamandra P.V.V.

Роман Шмараков

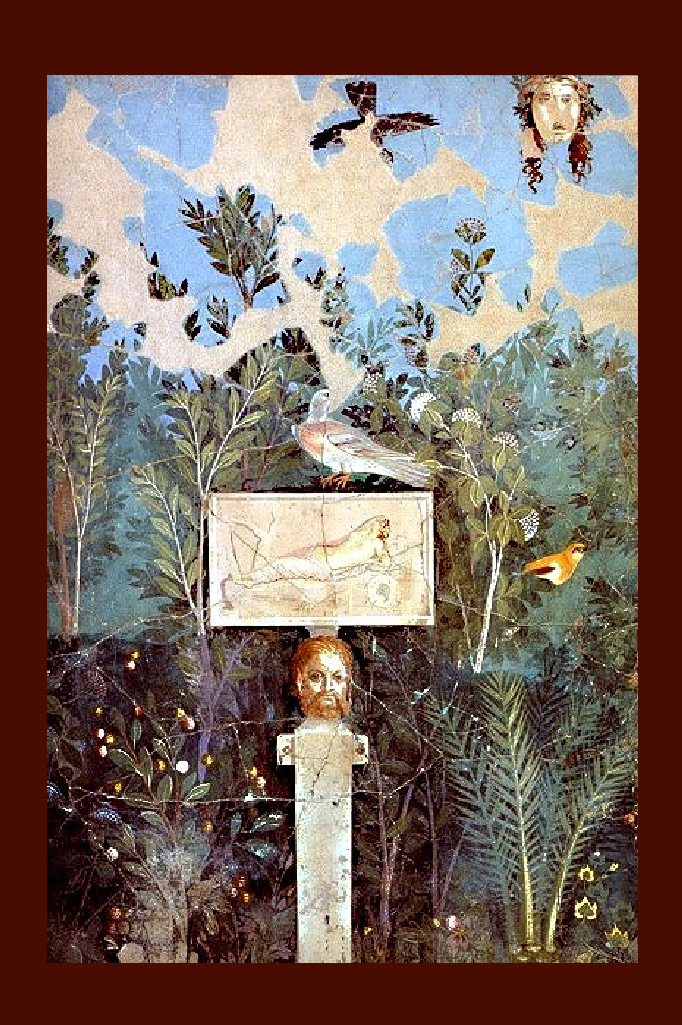
ПОД БУКОВЫМ КРОВОМ

Salamandra P.V.V.

Шмараков Р. Л.

Под буковым кровом. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2010. – 208 с., илл. – PDF.

В этой книге доктор филологических наук и прекрасный переводчик античной поэзии Роман Шмараков представляет свои прозаические опыты – семь изысканных и стилистически безупречных новелл, действие которых переносит читателя из древней Греции в Германию XVIII века, Италию времен Ренессанса и Россию «дворянских гнезд» века девятнадцатого.



Сократ в Пиерии

После того как «Архелай», поставленный на сцене пиерийского Диона с невиданным до сих пор усердием и пышностью, завершился и всё – рукоплескания, одобрительные крики и сужденья в публике – свидетельствовало о благосклонности, с какою она приняла спектакль, а избранные от царя мужи, чье высокое положение и образованность пользовались общей известностью, наградили хорега и актеров первой наградой в состязании, совершив напоследок благодарное возлияние гению Еврипида, хорег и Сократ отправились в одну городскую корчму, расположенную на отшибе, где докучные беседы посторонних, любящих толковать с людьми известными, не могли бы им помешать. Сократ ожидал нескольких фессалийских знакомых, обещавших быть к самому празднеству, и, думая провести вечер за приятной беседой, они покамест не пили много и говорили о прошедшем спектакле; однако хорег, в радостном

возбуждении, переживая все обстоятельства своей победы, был точно во хмелю и словоохотлив не в меру. Вспоминая, как был почтен Еврипид, он воскликнул, что лучшего вина не следует жалеть, чтобы выразить благодарность человеку, которому при его жизни все они были обязаны отрадой мудрого общения и еще после его смерти – а тому почти десять лет, как он умер, – счастливо пользуются уроками его вдохновения. Сократ заметил на это, что его всегда удивляло, что ту силу и охоту, какие Еврипид обращал на трагические произведения, которыми в Македонии справедливо гордятся, он не уделял комедии, видимо не любя и чуждаясь ее, так что ему кажется, нет ли здесь той односторонности души, которая обращает на себя неприязнь богов. Это возмутило хорега, и он возразил с горячностью, что свою любовь к Еврипиду, словно провидя подобные сомнения, боги свидетельствовали зримым для всех образом, о чем и Сократу довольно известно, и что заслуженно трагедия любима молодежью, всему предпочитающей доблесть и славу и всегда внимающей тому, что научает возвышенному. Видя, что хорег задет

не на шутку, Сократ отвечал ему с серьезностию, что, несомненно, «Архелай» вещь безукоризненная и он почти уже знает ее наизусть, так что еще немного и, приведись ему попасть в плен или потерпеть кораблекрушение в чужих краях, – он сумеет добыть себе пропитание и почет, исполняя на память лучшие места и благодаря Еврипида как своего избавителя. Да и сам хорег, обязанный ему ежегодными победами, конечно, присоединился бы к этой благодарности. Речь Сократа имела тон примирительный: еще с недоверчивостию, ожидая от знаменитого собеседника той иронии, которую он так искусно умел затаить, потешаясь над друзьями, хорег все же согласился с ним, неохотно промолвив, что, конечно, куда отраднее было бы победить, будь в соревновании вторые и третьи участники, – но все-таки, по его мнению, лучше чувствовать себя обязанным справедливости царя, чем народной благосклонности, прихотливей которой, как Сократу известно, трудно что-либо сыскать. Хозяин корчмы из своего угла слушал их с почтительным вниманием. Сократ было заметил на это, что у него

на родине был один знакомый меняла, который утверждал, что справедливость не всегда одно и то же, но разнится от случая к случаю: но хорег, с его непокладистым нравом, гнул одно, что ростовщиков у них не поощряют, гнушаясь их низменным занятием, обсуждать же распоряжения, происходящие от царя, он почел бы неприличием и неблагодарностью, которая, как Сократу известно, худший среди пороков. Впрочем самому Сократу, не связанному обязательствами, подобает думать как ему заблагорассудится.

Тут Сократ, улыбнувшись, заметил хорегу, что их беседа, которую, казалось бы, само место обязывает быть упрямой и неуступчивой, как осел на горной тропе, превратилась в одни обоюдные любезности, так что они с изумительным благодушием уступают друг другу во всех спорных вопросах, – не объяснил бы он, от чего это происходит? Хорег, как знаток в подобного рода вещах, не долго думая высказался, что это от музыки, нечувствительно влияющей на душу, и они обратились к нанятой ими флейтистке, которая на своей двойной

флейте, действительно, играла мелодию на лидийский лад. Вид у девушки был спокойный и кроткий, и Сократ заметил, что, пожалуй, такая игра ей наиболее пристала; однако ж хорег, по роду занятий знавший в округе большинство людей, способных искусно играть, рассказал ему, что обыкновенно эта девушка, в самом деле, кротка на характер, но в вакхических хороводах, когда они скачут как лани по дебрям и когда Дионис, как говорится, поднимает в них пламя яркой сосны, она разительно переменяется, так что в ее упоении есть что-то поражающее и ужасное, и в то время, памятуя печальные рассказы о бедствиях, связанных с этими играми, лучше ее и ее подруг обходить стороной. Видя, однако ж, что Сократ собирается, остановив девушку, получше расспросить ее об этом, хорег сказал ему, что мало кто из них помнит потом бывшее, так захватывает их беспамятство, которое в самом деле выше человеческой природы и как бы причастно божественному. Тут содержатель корчмы, следивший за их беседою, счел возможным вмешаться и подробно рассказал, что ее

отдали учиться флейте, потому что в детстве она была дурнушкой, а теперь учиться лире, упуская твердое ремесло, вроде бы поздновато: да и не прогневишь ли этим богов, которые, однажды поставив человека на место и как бы привыкнув к его служению, не радуются, когда человек бросает его и ищет другого. Но чтившего их боги и по смерти отмечают особым знаком, как отметили они великого Еврипида, когда в могилу его ударила молния. Сократ заметил, что видел его могилу, и ему кажется, что она расположена в очень красивом месте, на большой прогалине у дороги, под старым дубом. Хозяин прибавил к тому, что множество людей, приходящих из разных городов, желает приблизиться к ней, – но, как священное место, могила обнесена теперь оградою и соблюдается с величайшим тщанием.

Но тут, прервав их разговор, с шумом вторглась в корчму веселая компания фессалийских друзей Сократа, которые, видимо, вовсе не позаботились сохранить себе трезвости на длительную беседу. Завидев их кроткое времяпрепровождение за одним

кувшином вина, пришедшие со смехом воскликнули, что верно говорят поэты, Пиерия блаженная страна, и чтит ее Эвий, учреждающий здесь свои таинства. Видя их легкомысленное настроение, Сократ, впрочем и сам с усмешкою на лице, предупредил их, чтобы в этой стране они судачили о богах поосторожнее – ведь это все равно что пересказывать сплетни о царе рядом с его троном – и когда будут на рынке сбывать свое прокисшее вино, пусть не клянутся бессмертными именами, а приберут что-нибудь безопасное. Как бы привлеченная его словами, над склонами Олимпа из густых лесов вышла луна, озарив божественную гору и ее непроходимые дебри своим таинственным сиянием. Кто-то из фессалийцев предложил, если Сократ не против и если все попросят у него разрешения, в особо торжественных случаях и при наиболее удачных сделках клясться его демоном, ведь это он выручал его во всех трудностях и так счастливо привел его сюда. Сократ начал было говорить, что демон всегда выручал его, когда он находился в областях, чуждых рассудительности, – но заметив, что хорег смотрит на него с

недоумением, спросил, не обидел ли его чем, и тот ответил, что высокомерием и предубеждением кажется ему теперь говорить в таком духе о Македонии, уже давно вспоминающей времена варварской простоты как седую древность; Сократ же, смеясь, возразил ему, что под областью, чуждой рассудительности, он понимал отнюдь не Македонию, а, скажем, поэтическое творчество, о котором известно, что в нем важнее всего некое чудесное наитие, или попытки угадать будущее, которые выйдет из того или другого решения, – а мирная торговля, пусть даже это будет торговля фессалийцев, достаточно управляется обычным благоразумием, чтобы ей искать еще покровительства демона; к тому же, добавил Сократ, с улыбкою глядя на фессалийцев, его демон, видимо, хоть и божество, но низшего рода, и в близком соседстве с высшими богами он никнет и как бы смущается, а потому поэтическое творчество для него закрыто, если, конечно, не считать им ту причастность восторгу, которую переживаем мы, слушая произведения трагических поэтов и дифирамбы Пиндара. Услышав это, старший

среди фессалийских купцов и самый рассудительный между них вымолвил, что чудно ему, как можно сторониться поэзии в стране, наиболее предназначенной для творчества на поприще Муз, – ведь, как говорят, здесь они родились и это место выбрали для своего пребывания, и совсем в недавнее время все они, бывающие в этих краях, видели живущими здесь и трагика Агатона, и Меланипида, и Зевксиса италийца. Но его степенная речь была прервана хозяином корчмы, который, сам будучи под хмельком, услышав знакомые имена, тут же ввернул, как они бывали у него и оставались довольны и что он не находит слов славить свое время, когда его страна знаменита гостеприимством, любовью к мудрости и строгим надзором за справедливостью, так что люди, знающие толк в образованности и празднествах, стекаются в Дион более чем эпироты в Эфиру Феспротийскую, где, как говорят, при входе в Аид стоит прорицалище мертвых, если позволительно такое сравнение. Это неожиданное замечание показалось всем слишком метким для корчмы, точно подаренным корчемнику, по его

благочестию, кем-то из близких богов, и вызвало спор, в каком смысле можно сравнить поэзию с царством мертвых: ведь вдохновение, заметили фессалийцы, что в оракулах, что в поэтах, – одно и то же. Хорег, подумавши, важно присовокупил, что сами законы Аида, где душа пребывает в чистоте, питаясь божественным в меру своего разумения, суть то же, что законы поэзии и всякого восторга: но хозяин, опять ввязавшись в беседу, добавил, что не только состязаться, но и жить поэты, прославленные среди современников, остаются здесь навеки, а на родине у них, как бы в порицание государству, которому ревность не дала достойно почтить человека, любезного богам, остается пустая гробница. Не считаешь же ты, спросил Сократ, что любезен богам всякий, кто умел угодить публике? Нет, отвечал за хозяина вдохновленный спором хорег, – но кто умел жить в подлинной добродетели, тому уделом любовь богов и бессмертие; а первое умение, необходимое человеку добродетельному, – достойно управлять государством и домом, и таковое

благоразумие самому Сократу, без сомнения, не покажется мнимым.

Старший из фессалийцев заметил, что, как кажется, хорег говорит им о царской добродетели, на которую намекал еще и их радушный хозяин, подлинно живущий в славное время, если в своей корчме он воочию может видеть знаменитых людей изо всех государств просвещенного мира. Фессалийцы подтвердили, что и у них на родине все говорят, как выгодно и безопасно иметь дела с Македонией, воистину чтущей эллинские добродетели ради них самих и более, нежели сами эллины. Тогда польщенный хозяин, а за ним и хорег, предложили, пустив большую чашу по кругу, почтить божественный гений царя, как днем был справедливо почтен гений Еврипида, и фессалийцы живо с ними согласились, благо хозяин, расщедрясь, обещал отыскать такое вино, какого никому не давал. Общее веселье, оставя разговор о понятиях, закипело с оживленною силой; а поскольку вина в этих краях не принято разбавлять, да и хозяин счел бы это себе обидой, еще прежде полуночи Сократ оказался один между полусонных друзей, из

которых ни один не мог связать с ним приличную беседу. Он еще хотел поговорить с девушкой, заинтересованный рассказами о ней, но поскольку она оказалась неразговорчива, как это обыкновенно бывает с флейтистами, то, оставя ее, он решил было прогуляться до могилы Еврипида: но по темноте, в которой скрылась заходящая луна, по тому, как умолкли цикады и издали поднялся тяжелый шум Фракийского моря, он понял, что того гляди соберется гроза и находиться рядом с могилой было бы небезопасно.

Новелла

Светлане Хаутала

В те времена, когда король Карл, войдя в Италию со своим войском и баронами, оставил гарнизоны в Пизе, Ливорно и других городах, что были ему открыты, и явился во Флоренцию, где рассчитывал найти дружественный прием, жил в этом городе один дворянин, по имени Джандонати Пальмиери, прозванный Аккольиторе, человек учтивый, веселый и не отстававший ни от кого ни в делах своих, ни в словах. Поскольку король по природе своей имел пристрастие ко всему новому и невиданному, он вскоре дознался, что мессер Джандонати отличный рассказчик и много всего повидал, и велел всеми правдами и неправдами залучить его в свое общество, хотя и было известно, что тот не очень-то жалует французов. Мир устраивается по воле государей, и немного времени прошло, когда Аккольиторе, что бы ни думал об этом, был призван туда, где веселился король, и оказал такую любезность в речах столь забавных, что они понравились королю как нельзя больше. Флорентиец,

будучи человеком благоразумным и зная, что великие государи, как море, – с ними надо искусно владеть снастями и следить за ветром, раз уж не можешь оставаться на берегу, – приложил все усилия, чтобы стяжать благосклонность Карла, за всем тем пользуясь ею умеренно, чтобы не вызвать ревности у его придворных, и в короткое время так преуспел, что никакое веселье не совершалось без него.

Однажды, когда он находился, как обычно, в обществе короля, тому вдруг захотелось выслушать какую-нибудь повесть из числа самых необыкновенных, чтобы и новизною своей она была достойна владычного слуха, и он побуждал к тому Аккольиторе, которому давно хотелось спать в своей постели, а не забавлять кого бы то ни было рассказами (ибо час был поздний), но тем не менее он повиновался и начал так:

«Всем известно, что не было на свете человека, который больше стремился бы душой ко всему благородному и щедрее привечал бы людей, в чем-либо одаренных, нежели император Фридрих. Однажды довелось ему, как то было у него заведено, обедать в обществе своих приближенных,

между коими не было ни одного, кто не прославил бы себя храбростью, или мудростью, или еще какой-то из добродетелей, и уже подавали воду для омовения рук, когда вдруг к нему явились три человека с длинными седыми бородами и в плащах, сверху донизу распещренных астрологическими знаками: там был, как передают, весь Зодиак вместе с колесницей Солнца, все надписано греческими и египетскими буквами, и много чего еще. Они приветствовали Фридриха с великим почтением, а когда он велел спросить у них, кто они таковы, то отвечали, что они маги и что если императору будет угодно, чтобы они показали ему свое искусство, они не преминут это сделать. Фридриху стало любопытно, и он, обратясь к ним приветливо и благосклонно, велел показать, в чем они находят для своего искусства особенную похвалу, и пусть будут уверены, что не останутся внакладе. Тогда старший из магов подал знак остальным, и они принялись за дело. Из потолочных балок ударила молния и хлынул дождь. Все, кто там сидел, повскакивали из-за стола, потому что не ожидали

ничего подобного, а между тем пролившийся дождь оросил жареного петуха, поданного на стол, и он ожил и принялся кукарекать, думая, что настало утро. Тем временем маги своими чарами сделали так, что у слуги, который с лоханью воды стоял у стола, возникла на краю лохани маленькая женщина, совсем нагая, которая прыгнула в воду, и покамест он глядел в лохань, где ничего, кроме него самого, не было, эта женщина вынырнула на столе из блюда, которое стояло перед имперским канцлером, и обдала его подливой. Тут все опомнились и начали возвращаться за стол, говоря, что едва ли когда доводилось им видеть подобное или слышать о нем. Император сказал: «Воистину, нет ничего невозможного для всемогущества Божия» и щедро наградил магов, прибавив при этом, что ныне его черед показывать свое уменье, а потом спросил, не хотят ли они попросить его еще о чем-нибудь.

Маги сказали, что больше им ничего не надо, разве что император велит кому-нибудь проводить их в обратный путь: «ибо, – прибавили они, – нет такой мудрости и такого волшебства, которые охранили бы от всякой

злобы и безумия, измышляемого людьми». Император на это отвечал им, что не может никого приневолить, и тогда из-за стола поднялся граф Фереттский, бывший там в великом почете из-за своей храбрости и благоразумия, и сказал: «Мессир, я провожу их, если вам это благоугодно».

Тогда они вышли со двора, причем граф успел отдать некоторые распоряжения своим людям на случай, если он задержится в пути, и выехали из городских стен, в расчете на то, чтобы добраться до постоялого двора, прежде нежели их застигнет ночь. Они доехали до него и переночевали без каких бы то ни было неприятностей, а поутру отправились дальше, и в следующем городе, где графа хорошо знали, он был принят с наивозможным радушием, а иноземцев, ехавших с ним, честили как лучших гостей. Однако здесь маги не дали ему задержаться долго, но побудили его ехать вперед и вперед, пока наконец они не выбрались из мест, где граф был в славе, и не начали ночевать там и сям в гостиницах; в ту пору граф уже перестал спрашивать, далеко ли еще до их дома; и таким образом они, будучи в дороге много

недель, перевалили через горы, добрались до Миланской области, перебрались через Адду и достигли Кремы. Здесь маги расположились остановиться, сказав графу, что им надобно дождаться одного человека, который должен привезти им некие важные вести с их родины и с которым условились они встретиться в этом городе. И покамест они пребывали в ожидании, граф предоставлен был сам себе, ибо в здешних местах его никто не знал. Случилось так, что он ходил мимо дома одного знатного горожанина, у которого была дочь на выданье, статная, миловидная и наделенная всякой женской добродетелью; и однажды – то ли по случайности, то ли вследствие какого-то расположения звезд, об этом мне знать не дано, – граф, проходя мимо, увидел ее высунувшуюся в окно, когда она отдавала распоряжения садовнику, и тотчас пленился ею, сказав в сердце своем, что такой женщины он не видел никогда прежде и что благословенно небо, приведшее его сюда, и вдвойне благословенно, если даст исполниться его желанию. Сказав это, он не стал терять времени даром и приложил все усилия, чтобы познакомиться с ее отцом и вызвать в нем

доверие: ибо граф достаточно знал о делах супружеских, чтоб не искать счастья украдкой. Однако, как я сказал вам, он в этих краях не был никому известен, и отец, успевший по своему разумению отказать в сватовстве не последним женихам города, не спешил учтивствовать незнакомцу; он был вдовец и тем более дорожил дочерью; к тому же старость, как вам ведомо, по природе своей подозрительна и боязлива, как оттого, что кровь в жилах течет холодней и медленнее, так и оттого, что опытность советует не гоняться за тем, что трудно приобрести, а беречь то, что легко потерять. Коротко сказать, графа он встретил и без приветливости, и без особенных церемоний – ибо считал, что в своем дому волен вести себя как заблагорассудится – представив ему, что от человека, неизвестно откуда взявшегося, чье происхождение и дела темны, он не примет и предложений, затрагивающих самую пренебрегаемую часть его хозяйства, не то что его единственную дочь. Выслушав его, граф сказал: «Мессер Ридольфо (так его звали), я тебя выслушал и знаю теперь, что ты думаешь; однако выслушай, что я тебе скажу.

Я понимаю, что ты навидался женихов и знаешь, что пока они ищут твоего согласия, они деятельны, скромны и выказывают необыкновенную искательность, а добившись ее, делаются праздными и горделивыми. Кроме того, ты привык доискиваться, насколько знатен тот или иной, кто домогается твоей дочери, – ведь фортуна, а также ее красота и добрый нрав, так сказать, тебя обласкали и сделали разборчивым по этой части. Я же вышел для тебя словно из темноты, в которой ты только и можешь различить, что свои подозрения на мой счет. Меж тем как к согражданам своим ты будешь достаточно снисходителен, чтобы простить им иную промашку, по знакомству ли, по родству ли, по делам или дружбе, – мне едва ли спустишь хоть что-нибудь, и совершенное по оплошности осудишь как злой умысел. Не буду говорить тебе, что если бы отцы тех людей, что ныне ходят к тебе, знали меня, возможно, они предпочли бы иметь меня своим сыном, чтоб им было чем хвалиться, – не буду, поскольку ты сочтешь мои речи пустыми и никчемными; названия тех стран, где я воевал и где творил правосудие, где боятся

меня, как врага, и чтут, как отца, тебе неведомы – ибо тесна и в узких пределах заключена наша слава, распространить и разгласить которую мы трудимся, – а если я покажу тебе шрамы на груди, ты, пожалуй, скажешь, что получены они в шинке или достались от болезни, да еще припомнишь какую-нибудь из наиболее позорных. Для тебя должен я стать известным, не опираясь ни на предков, которые лежат слишком далеко, чтобы засвидетельствовать мою породу, ни на прежние свои деяния, коими род мой прославлен обильно и непостыдно. Довольно речей – ими не склонить недоброжелательства: а если ты хочешь знать, кто я таков, то, надеюсь, с помощью Божией покажу я тебе это еще до того, как ты отправишься обедать».

Сказавши так, граф вышел из дому мессера Ридольфо и прямиком отправился на рынок. Там он зашел в лавку, где торговали тканями, и сказал, что он-де граф Фереттский и намерен в этом городе жениться и что на свадьбу ему надобно дуэйского зеленого сукна, если у него такое есть, на четыре канны. Торговец сказал, что это станет ему в

два флорина, и отмерил четыре канны; граф ощупал сукно, посмотрел и так, и этак, и против света, и говорит: «Нет, я передумал. У тебя есть рытый бархат? Я возьму его на те же деньги». Он кладет сукно, торговец отмеряет ему бархата, граф берет его и идет вон из лавки.

Торговец говорит: «Эй, мессер граф, а деньги?» Граф: «Каких тебе денег?» – Тот: «Да за бархат!» – Граф: «Да я же вернул тебе сукно?» – «Так вы и за него не платили!» – «Так ты хочешь, чтоб я платил за то, чего не брал? Э, нет!» Он идет на улицу с бархатом в охапке; торговец, сбитый с толку, давай за ним, кружит, как вьюн вокруг крючка, и в голос заклинает графа рассчитаться по-хорошему, пока он еще не понял, в чем тут дело. «Изволь», – говорит ему граф и сворачивает во двор к мяснику. Тот как раз собирался резать свинью и стоял посреди двора со своим шилом и в буром от старой крови фартуке. Граф здоровается, говорит ему, кто он такой, и просит его к свадьбе зарезать ему свинью, так чтоб сберечь кровь, а обделают тушу уже свои слуги. Мясник говорит, что он сделает это за один флорин, когда граф скажет. Граф

отвечает, что коли они сговорились, он намерен рассчитаться теперь же: так не возьмет ли мясник с него за работу вот этим бархатом. Мясник откладывает шило, идет вымыть руки, возвращается, чтобы пощупать бархат, между тем как торговец слезно умоляет его не испортить товара, и наконец соглашается взять за свиное кровопускание рытым бархатом. Тогда граф говорит ему, что так как бархата здесь на два флорина, чему подтверждением вот этот достойный человек, который только что его продал, то не отдаст ли он ему, графу, один флорин за этот бархат, чтобы они были в расчете. Мясник, вытерев руки, соглашается и на это и выносит из дому двадцать сольдо. «Теперь, – говорит граф, обращаясь к торговцу сукном, который стоял ни жив ни мертв и уже двадцать раз простился со своим бархатом и деньгами, – смотри, я думаю, что эти деньги, разница между бархатом, взятым за то сукно, и тем, чтоб этот человек заколол мою свинью, должна принадлежать тебе; хотя, – обращается он к мяснику, – мне кажется, что по справедливости надо эти деньги разделить между вами пополам, ведь тут есть труд вас

обоих». Тут мясник, почуяв, что десять сольдо могут остаться при нем, заявляет, что граф самый справедливый из людей, каких он видел, и они с суконщиком начинают препираться, кому сколько по честности причитается. Вопль стоит столбом, соседи заглядывают в ворота и принимают сторону кто одного, кто другого – а это им тем более легко, что они совсем не знают, о чем дело, – и все кончилось бы потасовкой, если бы наконец граф не заявил, что не хочет, чтобы малейшая тень упала на его честность, ведомую и по ту, и по эту сторону Альп, и что он готов предоставить это дело суду одного из первых и уважаемых граждан города, с которым они будут готовы согласиться. Всем по нраву это предложение, и вот они целой толпой идут к дому мессера Ридольфо, который, с тревогой видя идущие к нему по улице клубы пыли, точно те, что путеводствовали еврейский народ из Египта, велит слугам на всякий случай сбегать на кухню за ножами и табуретами. Когда толпа врывается к нему во двор с просительным выражением, он понимает, что ему ничего не грозит, и, уразумев из их речей, что граф Фереттский

отправил их сюда за справедливостью, преисполняется гордости и пытается добросовестно решить это дело, но ему недостало бы ни правосудия Соломона, чтобы его распутать, ни кротости Давида, чтобы его вытерпеть. Тяжебщики перебивали один другого, а предметы в их речах смешивались и превращались друг в друга, так что конца этому не предвиделось; тогда граф говорит: «Видишь, мессер Ридольфо, – эту сумятицу, поразившую их, которой ни ты, дай тебе Бог всяческого благополучия и мудрости, ни кто другой не распутает вовек, создал я один, и не могу сказать, чтоб это потребовало много сил или изобретательности; а теперь я это улажу так же легко, как вызвал, а ты посмотри». Тут он отбирает у мясника бархат, возвращает суконщику, присовокупив любезные слова и флорин за беспокойства, ему причиненные, и отпускает его удовлетворенного со всеми его грозными споборниками; затем обращается к мяснику, платит ему настоящими деньгами за условленную работу и сверх того за потраченное время, и все расходятся со двора, где остаются лишь граф и хозяин с его слугами, которые еще держат табуреты наготове. «Ты

слышал, как они говорили о моем правосудии, – говорит граф, – а теперь будут превозносить и щедрость; и пусть это малое и ничтожное дело – но я ли виноват, что должен был выдумать такую затею, чтобы ты мог ее увидать, не покидая своего места, – ведь никакой молве обо мне ты бы не поверил!»

Такие речи и поступки развеселили мессера Ридольфо, которому остроумие графа пришлось по вкусу, а к тому же он увидел и великодушие его распоряжений, и щедрость расходов; он пригласил его в дом и стал говорить с ним не как прежде. Они познакомились и полюбились друг другу, а тут еще случилось, что служители маркграфа Монферратского, проезжавшие через Крему, узнали графа и приветствовали его как знакомца и друга их повелителя, так что у мессера Ридольфо не осталось поводов сомневаться. Он довел его сватовство до своей дочери, которой оно было по душе, и они справили свадьбу, а граф купил себе в городе прекрасный дом, куда ввел молодую жену. Коротко сказать, она выказала такое целомудрие и благоразумие и повела себя так,

что ни в первый день, ни во второй, ни когда-либо графу не пришлось раскаяться ни в своих желаниях, ни в упорстве, с которым он к ним стремился, и его дом был счастливейшим в городе (я забыл сказать вам, синьор мой, что маги, с которыми он прибыл в Крему, за несколько дней до свадьбы явились к нему с сообщением, что человек, коего они ждали, прибыл и принес им вести самые благоприятные, что теперь они, не имея причин задерживаться, уезжают отсюда и освобождают графа от обязанности провожать их дальше, из-за чего он, занятый многообразными хлопотами, правду сказать, не сильно горевал и одарил их на прощанье как лучших друзей и своих благодетелей), – так вот, дом его пользовался неомрачаемым счастьем, ибо Господь ущедрил его всяким избытком и даровал графу и его жене двух сыновей, которые, войдя в юношеский возраст, были несказанной радостью и упованием родителей.

Случилось так, что император Фридрих пришел со своим воинством в эти края и осадил Крему. Он расположился вокруг города со всеми своими силами, а по округе

отрядил своих зажитников, дабы они искали, чем продовольствовать людей и лошадей, захватывали пленников и угоняли скот в его лагерь. Сколь было возможно, он придвинул к городским укреплениям осадные машины, которые велел соорудить своим мастерам, и они обстреливали стены города и его башни, дома и улицы, просаживая крыши, сокрушая покои и службы, снося все, что было из дерева; они делали это с утра до вечера, и горожанам негде было укрыться, так что не находилось у них места, где пообедать, чтобы небо не смотрело им в тарелку: так все было разбито. Город, однако, хоть не отличался величиной, был хорошо укреплен в ожидании подобного случая, в нем были башенные самострелы и все защитные приспособления, так что осаждавшим доставалось не меньше; а кроме того, там хорошо знали, что не стены, а мужи защитой городу, и имели достаточно храбрости, чтобы выезжать из ворот и завязывать схватки на копьях и мечах, причем с обеих сторон было совершаемо немало доблестных дел. Нападавшие спрыгивали в ров, а потом лезли наверх, держа секиры в руках, чтобы ломать палисады, и щиты над

головой, так как люди со стен метали камни и ядра. Осада тянулась долго, и император не мог уйти отсюда, чтобы добраться до миланцев, как он того хотел. В один прекрасный день его любимый сокол, с которым он ездил на охоту, улетел от него, перелетел за стены и кружил над городом. В саду у графа рос молодой дуб, который велено было не трогать, хотя он со временем обещал бросить тень на все цветы и деревья; на его-то ветви и сел императорский сокол, устав виться в небе, а когда граф, выйдя из дому и завидев его, поманил, то послушно опустился к нему на руку. Узнав, что случилось, император отправил в Крему своего герольда и его ученика с требованием вернуть птицу. Градоправитель созвал совет; немало было сказано речей, но как всегда бывает, когда дело идет о жизни и имении каждого, не было никакого согласия, возвращать ли императору, что он требует, или нет, и что для них удобнее и безопаснее. Тогда граф, присутствовавший там, попросил слова и сказал, что ему удивительно слышать, что никто не заботится о том, чтобы состязаться с императором там, где он привык

распоряжаться неоспоримо, именно на поприще великодушия: все только и выгадывают, что можно сохранить и что страшно потерять от этого нежданного подарка, между тем как он, довольно зная императора, уверяет их, что тот проявит все необходимое упорство, чтобы взять город, и им теперь следовало бы отказаться от попечений о своей жизни и имуществе, ибо рано или поздно, а о том и другом позаботится Фридрих. «Впрочем, – прибавил граф, – я утверждаю, что iure soli сокол этот принадлежит мне; и если вы, на кого небесами возложено попечение о городе, не в силах принять решения, то я улажу все за вас по своему разумению». С этими словами он свернул соколу шею, а потом кликнул поваров и велел зажарить его, оказав все искусство, на какое они способны, чтобы усладить человеческое нёбо. Сверх этого он распорядился приготовить к вечеру торжественную трапезу и пригласить на нее императорских послов, велев передать им, что город решил наконец с соколом. Послы прямо раздулись от гордости при виде того, как одно имя их владыки утихомиривает непокорных; они щедро заплатили гостиннику, хотя город

постановил содержать их на общественный счет, отдали вычистить платье и ввечеру явились на пир. Празднество было пышное – хотя для тех, кто знал, что это поминки, веселья тут было мало, ибо они трепетали за себя больше, нежели когда-либо; а когда послы сполна отдали честь всему, что им предлагалось, и насытились, то стали говорить, что теперь время отдать им сокола, ибо негоже императору ждать так долго. Тогда граф, обратившись к послам, сказал: «Верно вы говорите, теперь этот сокол ваш, так что едва ли кто-нибудь сможет у вас его отнять; и нельзя сказать, что он не разделил с вами пиршества и веселья, насколько ему было доступно», – и велел внести и показать им блюдо с головой сокола, его когтями и потрохами. Поняв, что случилось, послы пришли в гнев и принялись угрожать горожанам самыми крайними карами от государя, кои явит он по взятии их города: а что он возьмет его, в том можно не сомневаться, особливо теперь, когда ему нанесено подобное оскорбление. Словами не передать, что испытали горожане, слыша, в какую беду ввергло их распоряжение графа, и

как они в своем сердце проклинали день и час, когда явился он в их город. После того как послы закончили, граф сказал: «Мы вас слышали; а теперь – ибо час уже поздний – возвращайтесь к императору и передайте ему следующее. Не от нашего лица вы будете говорить перед ним – наши речи вы могли бы исказить из желания раздуть в нем гнев и жажду мщенья; нет, скажите ему от имени того сокола, которому теперь всего уместней говорить вашими устами. “Ты знал, мой владыка, – говорит он, – что я смертен; знал это и я – насколько Творец, создавший и тебя, и меня, заронил в мою душу знание моего удела – и ни в коей мере не рассчитывал быть удачливей всякой другой твари. Узнай еще, что мне отрадно было умереть не в пору старости, когда моя кровь охладеет и я стану для всех посмеянием, а сейчас, пока я еще ношу всю свою силу и в полной славе могу проститься с жизнью, забранной у меня благородными руками. Знай, кроме того, что потому еще смерть была для меня благодеянием, что мне не придется увидеть, как ты одолеешь и возьмешь этот город и он истлеет и рухнет в пожаре; как мужей его, избег-

нувших меча, ввергнут в колодки и узилище, а жен и дев повлекут на бесчестье дикие звери, подстрекаемые слепой яростью; как от оскверненных храмов и очагов поднимется вопль до самого неба и как драгоценнейшее место на земле превратится в мерзостный пустырь. Скажу тебе также, что тот, кто наделил меня силой летать под самым солнцем, озирая так широко, как только может око, не лишил меня и великодушия – ибо я не убиваю из мести, но только чтобы насытиться; и не на то, казалось мне, даны благороднейшие чувства зрения и слуха, чтобы созерцать и слышать все горькие и недостойные зрелища, выпавшие побежденным, и обонять лишь смрад, восходящий от земли. Скажу наконец, о мой владыка, что мне горько думать, что виновником всего этого будешь ты, которого я любил больше всех людей и привык чтить как существо божественной природы и с которым разделял самое царственное из свойств: властвовать над своим гневом и щадить тех, чьи вины несоизмеримы с нашим могуществом. На этом прощай"».

Послы отправились к императору, чтобы донести ему все виденное и слы-

шанное, и когда он узнал, как в Креме обошлись с ним, он обещал причинить городу всю скорбь, на какую будет способен. Он распорядился выстроить деревянную башню в шесть связей, и его мастера работали над ней и ночью и в Господние дни; а когда ее сделали, то пятьсот человек тянули ее к городу, а чтобы горожане не подожгли ее огнем и не разбили камнями, он распорядился повесить у нее спереди и по бокам корзины, куда поместили заложников и пленников, так что горожане ничего не могли сделать; и эта башня была подведена к городу, и с перекидного моста по ней пошли на стены, а таранами били в ворота, и с ее помощью Фридрих овладел этим городом. Уцелевшим горожанам он разрешил выйти с тем, что каждый унесет в руках, и отпустил куда глаза глядят, а потом предал город своим людям и кремонцам, державшим его сторону, и они сравняли Крему с землей. Что до графа Фереттского, то Фридрих, осведомившись о том, что делалось на заседании и кто подал такой совет относительно сокола, велел посадить его в железную клетку и давать ему столько еды, чтобы он не умер с голоду. Хотя

он испытал многое, это было всего хуже; его сыновья погибли при взятии города, выказав доблесть, замечательную для юного возраста, а о судьбе жены, которой дорожил он больше всего, не было известий; он слышал, как проклинали его уходившие люди, которые из-за него потеряли свой город, и каждый раз, когда человек, его охранявший, приносил ему еду, граф принимался оскорблять его в надежде, что тот его убьет, но император, уезжая к Милану, настрого наказал беречь пленника.

Так продолжалось не день и не два, а потом к тюремщику явились три человека и сказали: «Император велит доставить пленника к нему, а нам быть провожатыми». Они показали на то грамоты, тюремщик отдал им графа, и они погрузили его в клетке на телегу. Долго его везли, в деревнях над ним смеялись, дети бросали в него грязью, и все обсуждали, что император намерен с ним сделать, и предлагали, что сделал бы каждый из них, будь он императором. Однажды вечером его доставили к какому-то пышному зданию и велели вылезать, ругая его за медленье, хотя у него ноги отвыкли

двигаться, и ввели на порог, где, думая, что привезен на суд, он увидел среди ярких факелов и разных блюд, источающих ароматы, тех людей, с коими распрощался много лет назад, в тот самый час, когда вызвался сопровождать магов. Канцлер с недовольным видом еще отряхивал свое торжественное платье от подливы, которая его забрызгала, а император держал красное полотенце, поданное после омовения рук, и только начал его разворачивать. Граф поглядел окрест с сильнейшим удивлением, и когда люди его заметили, то начали спрашивать, не с того ли света успел он вернуться, что выглядит таким изумленным, и не дьявола ли довелось ему повидать, на что он отвечал: «Не дьявола, но нечто такое, чего лучше бы я не видел». И покамест он приходил в себя – а ведь для него словно перевернулся мир – и вокруг него сгрудились люди, он отвечал им на вопросы и рассказывал, что приключилось с ним за одно мгновенье, которого не хватило бы, чтобы оседлать коня. Все качали головой, спрашивая друг у друга, видано ли такое, и хором славили магов (а это они привезли графа, я

думаю, вы уже поняли), которым дано небесами такое поразительное искусство.

После этого граф не захотел оставаться при дворе, как его ни упрашивал император Фридрих, осыпавший его ласками, но, взяв с собою нескольких доверенных людей, собрался и поехал тою дорогой, которой некогда сопровождал магов, имея целью уведомиться, подлинно ли есть все те вещи, которые прожил он будто во сне. Без приключений он доехал до Альп, перебрался через них и достиг Кремы, стоявшей там, где он оставил ее пепелище; не въезжая в нее, он остановился в одной придорожной корчме, где стал расспрашивать, словно из простого любопытства, кто из жителей города преимущественно славится знатностью ли, богатством или еще чем; среди прочих упомянули ему мессера Ридольфо, который-де и богат, и всеми уважаем, и наградил его Бог прекрасной дочерью, которая, правда, никак не найдет жениха себе под стать, ибо счастье сделало их не в меру взыскательными. Услышав об этом, граф сколь мог скромно вошел в город и улучил минуту, чтобы увидеть эту женщину и узнать; и когда он во

всем убедился, то нашел в противоположном конце города дом, выставленный на продажу, купил его и обосновался там. Те, кто с ним приехал, ждали, что не сегодня-завтра он затеет сватовство, но когда прошел не день и не два и они видели, что граф ни о чем подобном не помышляет, приступили к нему с недоуменными вопросами, он же отвечал так: «Я один раз испытал с ней счастье и думаю, что лучше того, что было, уже не будет, а больше я ничего не хочу». В саду у него вырос дуб, молодой, но уже высокий; он распорядился срубить его, а когда это выполнили, поглядел на небо и сказал: «Посмотрю я, как ты будешь вертеться, если лишить тебя средств». Таким образом он устроился там жить, по видимости не намеренный менять что-либо в своем обиходе и удивляя всех, кто его знал, как словами своими, так и поступками».

Тут Джандонати замолк; а король, которой подождал минуту-другую, думая, что рассказчик решил перевести дух, наконец, видя, что тот не собирается продолжать, сказал ему: «Ну же, Аккольиторе, прошу тебя, – доверши эту чудесную историю и скажи

мне, чем дело кончилось с графом и выгадал ли он от того, что срубил этот дуб и не женился на этой женщине». На это мессер Джандонати, как будто в сильном удивлении, отвечал: «Синьор мой, я никак не ждал от вас такого желания. Граф Фереттский не захотел испытывать ту же историю второй раз, хотя теперь она была бы по-настоящему: неужели вам хочется, чтоб я снова подал вам того же сокола, как он есть, – от головы до хвоста выдуманного? Имейте терпение, подождите, пока снесено будет то яйцо, из которого он вылупится, сложат печь, в которой суждено ему быть зажаренным, и сделают тот поднос, на котором поставят его на стол, – а там я обделаю вам эту историю в лучшем виде, так что вы и перед вашими баронами, и перед самим Господом Богом признаете, что Джандонати Пальмиери – лучший и самый правдивый из рассказчиков, каких доводилось вам встречать в сем веке и, возможно, доведется встретить в будущем».

С этими словами он замолк насовсем; и король, хоть и был в крайней досаде, не нашелся что ему ответить и вынужден был со смехом предоставить это дело его собст-

венному течению: и так они в худом согласии ожидали, когда мать сокола снесет то яйцо, из которого ему суждено родиться. А поскольку она не снесла его ни завтра, ни послезавтра, то король так и не услышал конца этой истории до того дня, когда выступил на Витербо, где укрепились его враги, коих уповал он с Божьей помощью выбить оттуда, а мессер Джандонати остался во Флоренции наслаждаться своею доброю славой, любимый и почитаемый всеми.

В ЧАС ПОЛНОЧИ

Sorori carissimae

Глава первая

Свидетели моей вседневныя печали,
Чертоги праотцев, вы мне противны стали.
Майков

NN в третий раз снился тот же сон. Он стоял под сводом круглого здания. Ветер доносил дремучее шелестенье близкого леса. Молодой месяц поднялся и шел среди туч, тонко сияя на черных колоннах. Услышав звук за спиной, NN обернулся и разглядел струйку воды, смутно сбегающую в каменное жерло. Беспокойство его охватывало; он вглядывался в невидимую чащу: вдруг сквозь нее протянулся дрожащий огонь одинокого жилья, и замерцали колеблемые очертанья ветвей. «Как приказывали», – сказала Мавра. Он поморщился и прикрыл рукой глаза. Солнце искрилось в клубах струившегося пара из кофейника. На маятнике поместительных часов, коих почернелая эмаль украшалась приличной аллегорией, одно-

образно путешествовали противу друг друга два неутомимых зайчика. Средь сего роскошного пробуждения природы Мавра недвижно держала поднос, расписанный румяными клубками. «Поставь», – велел он, спросонок принимаясь за горячую чашку. В окне, с которого мускусный гераний бросал перистую тень даже до самой перины, слышно было, как дворовые, маша многочисленными руками, совокупно ловят суетливую курицу, с удивительной прытью pièce de résistance носящуюся на жилистых лапах кругом растрепанного цветника. «Царь на войну собрался, – раздумчиво доложила Мавра. – И всех, сказывают, зовет. Подымайтесь, говорит». NN покосился на нее с брезгливым интересом. «Откуда принесла». – «Алена от обедни пришла, так сказывали». Курица взмыла над окном, и гулкий маятник на мгновенье заткался мраком. «Замуж бы вас, – кратко вывел NN. – И с Аленою вместе. Скучаете, я вижу». На эту его сентенцию Мавра поджала нижнюю губу, как, вспомнилось NN, делывала младшая девица Замойских, когда они прошлый год были у него о святках, на которую поглядывая Мавра этому научилась,

– но младшей Замойской это было к лицу, при ее трогательных жалобах, что в уезде у них совсем нет разума и чувства, а на Мавре было некстати. «Известное дело, – скучно сказала она, – мы ваши дети; куда вы, туда и мы; ин ежели, к примеру, прикажете…» С брезгливою гримаской NN остановил ее бестолочь; голова у него болела, и волненье чудесного сна еще не покидало его. «Скажи, пусть Гальвину мне подадут», – распорядился он холодным тоном, намеренный в ближайшее время отучить ее от покиваний, за которые она взялась, и смотрел, как Мавра, убранная ради праздника карминной ленточкой, уплывала в двери, чтобы объявить его распоряжение. Он еще имел минуту собраться с мыслями и посмотрел на читанный перед сном роман, но не успел подумать о его героях, положение которых вчера имело много сходства с его собственным, как за дверьми раздалось движение, и громкий Егоров шепот спросил: «Спит аль нет?» «На двор все! – закричал NN, стоя среди перины на коленах, еще в исподнем, нежно озаряемый утренними лучами. – Куда все повадились? а! на двор, говорю!» Вошла Мавра и прислонилась подле

дверного косяка, поводя лопатками по висящему на стене арапнику и подобная чете горлиц, свивших гнездо в Марсовом шишаке. «Ну! подали?» «Насчет обеда как прикажете?» – осведомилась Мавра, точно не слыша вопроса. «Что Егор, спрашиваю?» – в нетерпении прокричал NN. «Как же, – протяжно отвечала Мавра, – чтобы приказаний не исполнять. Это, может, где и есть такие, что ни Бога не боятся, ни людей не стыдятся, а у нас того не заведено, чтобы такое забвение». Одевшись наскоро, NN выходил из дому. На дворе, испещренном следами отчаянного беганья, с еще качающимися лилиями в цветнике, которые обагренною белизною указывали, где свершила свое шумное поприще обеденная курица, рябой конюх Егор, глубоко припадая на левую сторону, подводил к крыльцу Гальвину. Ударяя черною ногою в землю, она выгибала шею и косилась на NN, подходившего с хозяйскою уверенностию: он вскочил в седло, велел ждать его к обеду и закрутился меж амбаров, взбивая столбы праха. Высоко вздернув голову и вертя пышным хвостом, Гальвина уносила со двора

качающуюся спину барина. «Негодница, – сказал Егор, глядя им вслед. – Никакой науки не внушает, на всё свой толк. Сатана». Через дорогу переметнулась небольшая свинья и скрылась в овсах. NN только махнул рукою и понесся вскачь. «Дождя все нет», – отвечала конюху Мавра, глядя на небо, и с тем они разошлись по своим местам.

Глава вторая

В пустынной тишине, в лесах, среди свободы.
Озеров

NN ехал нахмурив брови, с видом решительности; лицо его было бледно. Знакомые пространства текли на обе стороны, не останавливая его внимания. Кровь в нем волновалась; разнообразные предположения, одно другого занимательней, приходили в голову. То казалось ему, что чудными посещеньями предвещались скорые и резкие перемены в его участи – и он невольно увлекался их зрелищем; то, охладевая, смотрел на свой энтузиазм с горькой улыбкой и не уважал в своих видениях ничего кроме разгоряченного одиночеством честолюбия. За

этими мыслями он оставил Гальвину нести его куда вздумается, и она так охотно распорядилась свободой, что, опомнившись, он увидел вокруг себя всё какие-то бугорки в репьях и колодцы, всё запавшее частым ельничком, какого не помнил у себя в окрестностях. Вполголоса выбранил он бедную Гальвину, которая, дернувши ухом, пошла без прежней решимости, но за всем тем оставил ей идти по ее прихоти, а сам оглядывался, не покажется ли что знакомое. Но кругом были все безлюдные места, и мирно текла по пути с ним чужая речка, осененная ивами, на которой мосток из дуплистой доски едва доходил до середины, мало рекомендуя общительность обитателей того берега. Вдруг какой-то сад поднялся справа при дороге. Подстегнув Гальвину перескочить мелкую канаву, NN поехал краем сада, нагибаясь и заглядывая под его пышный полог. Позади засохших дерев, качающих разворошенные гнезда, вольной чредою поднимались яблони, чертя по волнистой траве согбенными ветвями, как задумавшийся рыбак водит удою по бирюзовой воде. Невольно NN залюбовался сим великолепием,

сей глубоко уходящею тишиною. Приманчивые чародейства виделись ему; в извивах коры, вспыхивающих солнечными лучами, мелькали смеющиеся женские лица. Дятел напорхнул на старый ствол и заскакал, ударяя в чешуистую кору полуотверстым клевом; поднятые его брови, словно насурмленные, придавали ему вид удивления. Стукнувшее в землю яблоко вспугнуло его: он фыркнул пестрыми крыльями, показав NN рдяное подхвостье, и, низко ныряя в дымно-золотом сумраке сада, унесся в его колеблемую глубь. Позабывшись в наслажденье волшебными картинами, NN шагом подъезжал к накренившемуся флигельку против сада, за которым в перспективе рисовались очертания барского дома; но когда он проезжал мимо флигелька, распахнувшееся окно окатило ему бок пенной водою из таза – и покамест перепугавшаяся баба, высунясь вслед за тазом, просила прощенья у нежданного наездника, NN, отряхиваясь, въезжал в геральдические ворота князя О., где его поневоле шумный въезд был встречаем вышедшими из любопытства слугами.

Глава третия

Учтивость, дружество, приятный разговор.

Муравьев

«Итак, вы находите в этом развлечение», – сказал князь. NN развел руками. «Видишь, милая, – продолжал князь, откладывая золоченую вилку с родословными эмблемами и наклоняясь через стол, – не все разделяют твои вкусы». – «Однако Иван Андреевич так торопится уехать, – отвечала княгиня: – верно, тучки, что сейчас видели мы над лесом, его напугали». – «Это маленькие тучки», – небрежно отвечал NN. «Ты, Annette, здесь редкий гость, – заметил князь (хотя жена его бывала здесь ровно столько же, сколько и он), – и, верно, не знаешь всех наших заведений; именно, вон в том амбаре, с такою забавною крышею, там всегда у нас приберегается хорошая погода, нарочно для гостей, это уж так повелось». Затеялся спор; княгиня опровергала похвальбы мужа, замечая, что в такой тесной клети на весь год погоды не напасешь и что хвалиться сего рода запасливостью значит вызывать неудовольствие тех, кои имели несчастье быть встреченными в его

поместьях такою погодой, которая касается лишь их одних. Со всеми вместе пришлось и NN засмеяться, хотя он веселого не много видел в том, что ему пришлось явиться негаданным гостем, отряхивая колени, щедро залитые проклятой бабой из окна, в то время как князь представлял его супруге как отставного поручика такого-то, постоянного жителя этих мест, между коих он имел глупость заблудиться. Князь еще утверждал с комическою важностию, что эта заповедь хлебосольства сохраняется от его деда, пересказав и некоторые о нем анекдоты, кстати и то, что в свое время, когда известный Казанова был у нас под именем графа Сейнгальта, то, близко сошедшись с Потемкиным, предлагал тому силою своих каббалистических и иных сведений содействовать во взятии Силистрии, в чем тот весьма нуждался, но не согласился из соображений политических, а паче того по странному благочестию, припадкам которого был подвержен среди своенравной пышности своего жития; однако (говорил князь) дед его, тогдашний князь О., был хорош с Казановой и ласкался надеждою, что власть и возможность сего последнего дадут ему добиться самых

блестящих предположений, в чем, кажется, был положительно уверен своим диковинным приятелем. Ничьею трезвостию не охлаждаемый, он кипел и мнил уже в сердце своем стать над всею N-скою губерниею, когда могучим вихрем сошедшихся обстоятельств был вынужден заключить свои притязания в тесном круге родовых имений, где его растревоженное властолюбие и щедрая на выходки гордость сделались поучительным зрелищем для соседей, надолго взволнованных его падением. Истощившись в родовых преданиях, князь рассказывал и столичные новости, где сам был не последний участник. При каком-то рассказе, увлеченный, он сделал сильное движение, как раз дунул ветер, и верхи дерев зашумели; князь засмеялся, остановясь на самом занимательном месте, и сказал: «Вот вам подтверждение» – попробовал было скомандовать еще раз, но все осталось тихо, и он, немного недовольный, вернулся к рассказу, сильно осудив последнее лицо, на котором остановился. NN, едва знакомый с князем, который в нем напал на свежего слушателя, внимал ему то с удивленьем, то пытаясь распутаться во множестве пред-

ставляемых лиц и событий; княгиня смотрела то с улыбкой, то с выражением скуки, когда князь говорил, как его дед махнул рукой на все прежние виды и намерился устроить себе жизнь к покою; опять задул ветер, и деревья наклонились.

Глава четвертая

Все тмой покрылось, запустело;
Все в прах упало, помертвело.
Державин

«Он имеет неудобства», – сказала княгиня. Белое изваяние L'Esigenza, склоняя важную голову с прищуренным взглядом, казалось, свидетельствовало истину ее замечания. Они остановились в прямой и широкой аллее, среди стройно возносящихся крон. NN возразил, что в сем прихотливом соединении разновременных частей, в самой огромности целого должен находить утешение ум и вкус человека, уставшего от столичной пышности, слишком мелочной, слишком требовательной. Поодаль, как отчаявшийся проситель, глядела на них фигура L'Errore funesto, с выражением суетливого безумия, указывавшая перстом на

какое-то место в каменной книге, которой содержание полузаросло смородинным кустом. Княгиня улыбнулась, ничего не говоря. Влево уходила тропа, непроницаемо затканная по обе стороны вязью ветвей; они шли по ней, княгиня впереди, NN за нею; княгиня казалась ему печальна и рассеянна; он хотел открыть ей сердце, но не нашел уместным. Две пчелы взапуски пронеслись по аллее, обогнав их гулянье, и растворились в солнечной зелени. NN начал о том, что для души, не утратившей способности любить, впечатления жизни в согласии с природой, etc.; княгиня ему отвечала; за этим разговором они миновали изваяние, у которого головы не было, а все остальное играло на лире с большим чувством, и свернули на новую тропку. Княгиня жаловалась на запустение, на глухие фонтаны, которые урчат ночью, пугая собак, на одичалые гроты, где кто-то шумно прячется; говорила, что ни на день не осталась бы здесь без мужа, кажется, гордящегося этою поэзиею разрушения как прародительским преданием, – и кончила рассказом о какой-то испорченной статуе, может быть, сей самой: именно, когда один

прежний обитатель этого дома, тоже поручик, торопился ввечеру через сад на свидание, где-то у него назначенное, то наткнулся на отломленную белую голову, в сумерках глядевшую на него из дупла (бессмысленное озорство, которого виновник не был найден) и едва не помешался в рассудке; впрочем, княгиня и жаловалась и рассказывала с такой рассеянностию, что посреди ее рассказа, может быть, на сем самом месте, несчастный поручик вдруг оказался не поручиком, а его сестрою, впрочем всеми похваляемою за добродетель и переводившей Виланда под наблюдением соборного протоиерея. NN ограничился осторожным замечанием, что большие страсти способны совершенно переменить характер человека. Вдруг поляна открылась перед ними, одетая светлой травой и испещренная узорами луговых цветов. Посреди ее стояла беседка, в нагбенном круге тесных ветвей. NN застыл как громом пораженный; быстрый озноб пробежал по его телу, слова его спутницы не достигали оцепеневшего слуха. Эти порфирные колонны, несшие купол с фонарем, витые перила, стена, закрывающая беседку с севера,

по которой из медной, насупленной львиной морды сбегала вода в резную каменную чашу, – это было место, куда приводил его настойчивый сон. Он едва удержался от изумленного восклицания, имев благоразумие выдать свои чувства за восхищение видом. Княгиня сказала, что сей *Храм вкуса* выстроен был в ту пору, когда помянутый князь О., дед ее мужа, скучал здесь, лишенный товарищей, кроме своего вольномыслия, которым пугал богобоязненных помещиков, и привередливой любви к изящному, которой привык задавать заботы большие, нежели она могла снести. Здесь он утешался то в забавах более или менее нескромных («Там стоял жертвенник», – с неодобреньем прибавила она, указывая рукою), то в припадках меланхолии, вызываемых воспоминаниями и сравнениями. Видно было, что с того времени, как его меланхолия прекратилась единственным способом, предоставленным природой в его распоряжение, беседка не пользовалась вниманием его наследников, то ли более его счастливых, то ли меньше приверженных досугам широкого поместья: вкрадчивый плющ увил колонну, подобно льстивому другу

могущего царедворца; при ступенях выросли две молодые березы, играющие тенью на истертом цветном полу; позолоченная надпись, опоясывавшая карниз, источилась до того, что нельзя было разобрать язык, на котором она была сделана, и кое-где из ее букв, зыблемая ветерком в лазоревой вышине, пробивалась лебеда, которою история любит венчать свои памятники; заржавая трубка в устах нахмуренного льва точила теплую струю с запахом болота: NN поспешил омыть ею разгоряченный лоб. Княгиня стояла между колоннами, задумчиво глядя в колышливую зелень; засвистала какая-то птичка, и от реки слышно было, как запели мужики, довольные праздничным днем.

Глава пятая

Вот уж солнце за горами;
Вот усыпала звездами
Ночь спокойный свод небес;
Мрачен дол, и мрачен лес.

Жуковский

«Ступай теперь, меня не дожидайся», – сказал NN малому, державшему коней под

уздцы, и пустился краем поля, шевелившегося в темноте. Ему еще послышалось удаляющееся ржанье коней, возвестившее, что парень, сопровождавший NN в его новом посещении княжеских земель, скоро доберется до дому и будет, улегшись на соломе, трактовать с Егором о свойствах конской бабки, в ту минуту, как сам NN, невольно склонивши голову, вступал под ветви знакомого сада.

С того мгновенья, как он увидел беседку на заглохшей поляне, он больше не принадлежал сам себе, едва измыслив предлог уехать наскоро от князя и с мучительным нетерпением бродя по дому в ожидании вечера. Громоздкая темнота сада простерлась перед ним: он вступил в нее, и ветви за ним сомкнулись. Чувство его обострилось: он смело шел туда, где казалась ему дорога, – и темные приметы наполняли его радостью верного выбора; он улыбался; заветная поляна, по его расчетам, должна была уже открыться. Вдруг тусклое зеркало заградило ему путь. Какой-то пруд, в окруженье черных очертаний, тянул тонким холодом. NN стал, задыхаясь от волнения и скорого бега; дорога

пропала; темная, дышащая дебрь впервые показалась ему страшна: неясные шептанья веяли ему за ухом, чьи-то роптанья и жалобы; белесые кивания седых дерев затаенно глядели из подступающей темноты, и, в отчаянии метнувшись, он увидел, как проклятый сонм знакомых привидений замерцал ему отовсюду, с их каменными, затканными мраком лаврами и млечно светящимися разверстыми циркулями; хоть он и мнил себя не робкого десятка, но средь их собора, заступившего ему дорогу, похолодел, быстро озираясь… на его счастье, одна бледная фигура, к которой он протягивал дрожащую руку, оказалась его знакомою L'Errore funesto, с заросшей книгою в пясти, – и он от души благословил истукана, впервые получившего назначение: за его спиной он узнал знакомую тропу, вслед которой вскоре выбежал на поляну, насилу выдравшись из цепкого объятья княжеских дерев, и с наслажденьем вздохнул под мерцающим звездным сводом. – Оправляя растрепанное платье, входил он под темный, воздушный купол. Черные колонны сияли росой. Вверху завозилась летучая мышь и мимо NN выпорхнула в ароматную ночь,

озаряемую тонким месяцем. Он обернулся: вода шепотом лилась из звериного зева; издали повременно кричал дергач, и протяжно откликались ему иссохшие стволы княжеского сада. С замираньем стоял NN меж колонн, глядя во тьму, и вот далеко за чащобой затеплился жалобный свет во флигельке, где баба, облившая его, верно, садилась вечерять со своим семейством, раздавая всем по чину щелистые ложки. Все было, как представлял ему сон. Сердце его билось. Он не знал, чего ждать. Все молчало. Нечувствительно присел он на скамью; голова его склонилась, веки дрогнули; и – пусть это покажется странным – он заснул: ибо таково свойство нашей природы, любящей соединять противоположности, благотворным забытьем разрешая крайнее возбуждение человеческих сил.

Глава шестая

Тут новая мечта возмутила дух мой.
Карамзин

NN видел себя лежащего на постели подле стены, на которой еще темнело то длинное место, где висела прежде кре-

постного письма картина, представляющая победу русских над турками при Рябой Могиле. Сия слава российского оружия вывалилась из рамы и уже год тому, как, предана на попечение плотнику, обещавшему обстряпать это побоище лучше прежнего, перекочевала в каретный сарай, открыв по своем исчезновении, что обои на всей стене некогда были гвардейского зеленого цвета в золотую лапку. Повыбившиеся из перины перья пестрили комнату где пегим, где рыжим, невозмутимые в ее заводи до того мгновенья, как отворившаяся дверь не заставит их, сорвавшись с мест, кружить в насильственных скитаньях, то в темной пыли под кроватью, то на носу бронзовой статуэтки сменяя друг друга. Медяные стрелки часов, сделанные подобно копьям садовой решетки, исправно отставали на пять минут, и маятник радужно отблескивал. Среди комнаты недвижимо стояла Мавра, в белом облаке паров, и на лице ее, сквозь кофейного куренья глядевшем на NN, лежала тень иного лица, которое пытался он найти в забытом прошлом. Вдруг быстрый мрак за окном задёрнул солнце; взгляд NN обратился к две-

рям, за которыми раздалось приближавшееся движенье, – и в неизъяснимой тревоге, силясь спасти себя от чего-то, он проснулся.

Глава седьмая

Благословенная и тихая заря!
Херасков

Была прекрасная заря; меж багряных колонн прилежно вытканная паутина горела перлами росы, и ободренные птицы пели гимн благосклонному светилу с качающихся ветвей. Потирая затекшую шею, NN поднялся с каменной скамьи, вышел по ступеням и пошел знакомой тропою сада, отводя от лица мокрую листву и всего более жалея, что не велел конюшенному парню ждать его до утра. Два часа понадобилось, чтобы, зевая во весь рот и провожаемый средь лугов безыскусной пастушескою цевницей, он добрался до своей окрестности, а потом встретившийся сонный мужик вытряс ему все нутро на телеге, куда забравшись NN думал подремать до дому. Изумленная и растревоженная Мавра, с утра то бегавшая к воротам, то стоявшая у окна с геранием и ничего не добившаяся от

бестолковых конюхов, встречала его промокшего до пояса при гулянье в лугах, с налипшею в телеге соломой и рыжими перьями, – весь испорченный доспех, стягивая который с себя и передавая ей вычистить и просушить, он прибавил: «Да вели там не орать на дворе, я спать лягу».

Чужой сад

Мой дядя звал меня к себе. На его первое письмо я ответил молчанием, частью развлеченный делами, частью настороженный той пылкостью новизны, с какою в нем выражались родственные чувства. Надеясь, что личные увещания будут сильней письменных представлений, он отправил новое письмо со своим соседом по уезду, который выгодно то ли продавал, то ли покупал поташ в Архангельске и на которого дядя возложил приятельское поручение меня убедить. Он отыскал мою квартиру в Шестилавочной. Это был человек в синем фраке и гороховых панталонах, с печальной задумчивостью в глазах и с осторожными движениями пухлого тела, будто все время нащупывал стул в темноте. Я видал его в детстве, когда мать возила меня к дяде, где наше знакомство ограничилось тем, что он сажал меня к себе на колени и показывал чёрта очень похоже. Он передал мне новое дядино послание. Щекотливое предубеждение насчет важности своего посольства его стесняло; увидев на ковре у меня два висящих накрест ятагана, с затертым

жемчугом на рукояти и азиатскими клеймами, купленных на Апраксином торгу из побуждений, которые я готов был назвать суетными уже в те минуты, когда развешивал клинки по ковру, он спросил: верно, отняты у турок? радуясь удачному предлогу для разговора. Уверенный, что в Петербурге даже младшие помощники сенатских секретарей имеют безнаказанный случай отнимать что-нибудь у турок, он не был глуп; его ум, спокойный и ясный, всегда выгадывающий в обстоятельствах, был, однако же, настолько свободен от самодовольства, чтобы признавать в мире множество вещей, мало похожих на ему известные; среди этих вещей *на земле и небе* одною из первых был Петербург, и если счастливое отдаление, в какое русские уезды поставлены ко множеству мировых загадок, избавляло его от бесцельного раздумья, то Петербург требовал от него исповедовать смирение по одному тому, что здесь он бывал проездом. Не утверждая ничего положительно, одним-двумя вескими намеками я почти убедил его в этой смелой догадке – не из столичного тщеславия, а лишь для того, чтобы, вернувшись в уезд, он ус-

покоил дядю донесением, что и я занимаюсь чем-то полезным: ибо я не собирался приносить в жертву родственным связям нечто более весомое, чем репутация благонамеренного молодого человека. Раз-говор не вязался; я твердо намеревался отделаться от его околичностей и дядиных настояний одною вежливостью, и возможно, успел бы в этом, если бы, перемежая скудный рассказ о деревенских событиях с жалобами, как плохо теперь идет поташ, торговец не заставил меня неосторожно заметить, как моему сочувствию мешает то, что, к прискорбию, я не знаю, каков поташ из себя, и не могу различить обстоятельств, кои мешают ему хорошо ходить. Лицо гостя моего загорелось, он всплеснул мягкими руками; речь его полилась – и получаса не прошло, как я, искренне проклинающий себя до седьмого колена и недоумевающий, как можно было человеку, хвалящемуся любовью к Тристраму Шанди, так глупо оступиться, – я знал о перекалке шадрика все то, что мне не было нужно о ней знать, из неиссякаемых уст человека, заклинавшего поверить, что поташ именно таков, каким он его изображает.

Письмо лежало на столе, измятое и промасленное с одного краю, видимо, от неосторожного соседства со съестным снарядом, который составляют у нас дорожный пирог и жареные куры в рогожном куле; сквозь промасленную бумагу отражалось справа налево несколько слов, из коих я, занявшись этим от скуки, разобрал только одно *почитая*, коим дядя хотел описать мои фамильные обязанности. Нечаянно разгоряченный взгляд оратора упал на письмо, и в его лице, когда он вспомнил, для чего был послан, выразилось почти отчаяние. Эта минута все решила; я вдруг живо представил моего дядю, его холодное, обидчивое обхождение и сардонические замечания, когда бедный ходатай, возвратившись, примется рассказывать о своей неудаче; я почувствовал жалость к человеку, попавшему не в свое дело, и поспешил успокоить его, говоря, что непременно поеду к дяде, как только выхлопочу себе отпуск, и он уходил от меня совершенно утешенный – благодеяние, о котором я тотчас усомнился, стоит ли оно моей поездки.

Вот причина, ради которой я, в последних числах июня, оказался посреди

пыльной дороги в N-ской губернии, в тесном обществе сломавшегося экипажа и кучера, расходовавшего неистощимые запасы желчи на *перегоревшую* ось и равнодушных лошадей; прибавьте к этому, что мы стояли под солнцем, поднимавшимся к полудню, среди струящихся нив с пестрыми васильками, над коими, повиснув в воздухе, безмятежно распевал жаворонок, и вы поймете, что нельзя желать положения более идиллического; укоризны, обращаемые кучером к пристяжной, которые перемежал он приглашением «ешь ее зубом», делаемым на общее лицо, придавали картине фламандский колорит. Не знаю, долго ли бы мы стояли, но вдруг по дороге, скрывавшейся среди колосьев, потянулось какое-то громыханье, все приближавшееся (мы навострили уши) и наконец оказавшееся телегой, которой правил мужик, а позади привешено было ведро, возвестившее нам его прибытие. Я спросил, далеко ли деревня. Он ощупал нашу ось, осмотрел лошадей, хладнокровно отнесся к возобновленному предложению есть их зубом (я поздравил себя с тем, что мои лошади не возбуждают таких желаний) и, сочтя наше

дело достаточно бедственным, сказал, что в трех верстах имение Ивана Никитича К., отставного полковника; что он едет сейчас к барину и, коли угодно, покажет мне дорогу в имение, где верно не откажут в помощи. Я согласился отправиться с ним. Кучер обещал шагом довести поврежденный экипаж до усадьбы: мужик сказал ему дорогу, состоявшую в том, чтоб никуда не сворачивать, и мы двинулись, оставя кучера за поправкой шлеи. Мужик звал меня в телегу, но, как Ланселот, я не решился и пошел подле нее, намеренный нагулять аппетит, который Иван Никитич К., конечно, не откажет удовлетворить. Дорогою я думал о моем дяде, перебирая в памяти предания нашего родства.

Он служил по молодости в гусарском полку; принятое *в собрании героев* соревнование, коему не мог он не подчиниться, истощая его скудные средства, не поднимало его, однако же, в общем мнении до тех счастливцев, чья неограниченная расточительность позволяла рассчитывать на уважение товарищей. Глядя на них, он ожесточался, и в самых его пороках, казалось общепринятых, не было простодушия, которое дает им цену в

глазах опытного наблюдателя. Он не видел к себе любви и не имел решимости ни внушить ее, ни пренебречь ее поисками. Случай, не дающий никому отчета в своей благосклонности, помог ему: он выгодно женился. Его жена была купеческая дочь, которую из стен ее кряжистого терема водили ко всенощной; в храме она увидела молодого гусара, чья бледность выразительно говорила девическому сердцу, и поклонилась ему. Это решило ее судьбу. Он узнал о ее жительстве, ее семье и состоянии. Родители польщены были блестящим сватовством. У него были совместники: он умел победить их; невнятный слух говорил о клевете, пущенной им не без успеха, и о скандальных обстоятельствах, последовавших, когда она открылась. Эта молва не стоила бы упоминания, если бы ей не поверили слишком охотно, и между тем как родные счастливого гусара возмущались его неразборчивостью, укоряя его древнею родословной, которую обесславить он соглашался с удивительным хладнокровием, его товарищи горели негодованием, рассказывая, что родня его невесты отнеслась к его ловкости едва ли не с одобрением –

обстоятельство, чрезвычайно его компрометировавшее. Он вышел из службы поспешно и как-то неудачно, торопясь укрыться в деревне. Наследственное его имение лежало расстроенное. С хорошим приданым, взятым за красивою женою, он принялся хозяйствовать, выказав настойчивость и понимание, удивительные для вчерашнего гусара. Его крестьяне скоро почуяли на себе руку жесткую и внимательную. Он везде поспевал и, всем обремененный, никому не давал себя обманывать. Распорядительность его была самая неумолимая. За всем тем, чуждый мучительства, он берег своих подданных, не ища во власти иных целей, кроме экономических. Когда его дела выправились, он начал строиться – меблировал дом отлично, увешал его люстрами, уставил фарфоровой посудой – и тут же завесил люстры и кресла чехлами, а поставцы запер на ключ. Тщеславие его молодости, получив средства для своего удовлетворения, из состязательного сделалось прижимистым; он никуда не выезжал; его *обычный* форейтор умер исполненный долготою дней, не передав никому своего ремесла. Соблазнен-

ные славою его успеха, соседи искали случая в нем участвовать. Его гостеприимство, однако, было таково, что люди самые покладистые раздумывали, претерпеть ли его другой раз, а невинное намерение занять денег встречало у него отказ, причем дядя научился настолько не уважать людей, что не затруднял себя мнимыми объяснениями. Соседи обижались, звали его скаредом и с бескорыстным благоговением следили, как его имение процветает. Он мог испытывать стеснение перед женою, ставшею ему средством к независимости; но так заведено, что простота побуждений, движущих людьми, сопровождается совершенною неспособностию ее заметить, и человек, могущий служить хрестоматией страстей, благословен от неба неумением в ней читать. Это можно назвать счастьем своего рода; во всяком случае, если бы таковая проницательность давалась внезапно и насильственно, мало кто бы снес ее; скажу, что если бы небо продлевало дни моего дяди в надежде его образумить, он ласкался бы жить вечно. Бедная женщина, обольщению молодости заплатившая унынием долгого супружества, испытала

все, что можно испытать при муже придирчивом, неблагодарном, которому самодовольство не принесло благодушия; не знаю, в чем она находила утешение, но думаю, источники его были скудны. В довершение ее бедствий, их брак оказался бездетен; супруг выходил из себя всякий раз, как думал об этом, раздраженный сознанием своей невиновности – ибо в девичьей что ни месяц обнаруживались беременные, которых отдавали замуж в деревню, – и у него хватало простодушия прибегать к этому доводу в попреках, коими он неутомимо осыпал жену. Мать моя, сильно нуждавшаяся, однажды решилась к нему съездить, взяв меня с собою. Я эту поездку помню смутно. Он не вовсе отказал ей, но держал себя так, что больше она не искала его помощи. Между тем время шло, жена его болела – и хотя все кругом при его нахмуренном взоре принимало боязливый вид; хотя по-прежнему ходил он беспрекословным властелином в обширном и молчаливом доме, между зеркал, частию затянутых холстиной, частию исхоженных мухами; хотя общее почтение к нему было настолько прочно, что, пренебрегая им, он

мог ласкать своему тщеславию безбоязненно: его самодовольство чем дальше, тем более было отравляемо мыслию, что дни его клонятся к старости и что случай, подаривший ему богатство, не выключит его из обыкновений естества, велящих бросать нажитое при двери гроба. Утешение, доставляемое религией, было ему недоступно; сарказм делал его суеверным, и это свойство, давшее при нем ход самым диким поверьям, доставляемым дворней, привело к тому, что он начал видеть сны из «Русского песенника» и лишился возможности отдохнуть от себя хотя бы ночью. Тогда самолюбие его распространилось на родню. Он вспомнил обо мне и послал денег при письме, в котором неумело злоупотреблял доводами родства. Я не думал ему отвечать. Неприязнь к нему я воспринял как семейное предание и держался ее тем строже, что в моем наследстве она составляла важнейшую часть. Я достаточно знал об его обыкновениях, чтобы не уважать их; из семейных историй я почерпал нравственные заключения, коими рассчитывался с ним по-родственному; его принужденная щедрость не заставила меня быть благодарным, и дядя

потратил бы и деньги, и увещания бесплодно, если бы тот же самый случай, что поставил его в круге почтеннейших лиц N-ской губернии, не вынудил меня совершить туда путешествие, утешительное одним удовольствием его описывать.

Мой вожатай оказался словоохотливым; предвозвещаемый тихой окрестности громом ведра, подобно деятельным полководцам древности, он повествовал о своем барине чрезвычайно почтительно и с какою-то гордостью, делая даже пренебрежительные сравнения насчет близлежащих хозяев, пока мы не оказались у въездной аллеи, в конце которой виднелся господский дом. Здесь мы распрощались: мужик свернул в сторону, пустившись греметь по разбитой тропке, а я пошел вдоль чреды высоких лип. Сквозь их благоуханные верхи дымными столпами падало солнце, в котором вились прилежные пчелы, принадлежащие Ивану Никитичу К. За древесными стволами блестела вдалеке справа колокольня между пышных ив. Я подошел к дому, украшенному выбеленными известью колоннами с классическим треугольником; вышедший на ступени человек, в

сюртуке, застегнутом доверху, с табачной желтизной в седых усах и холерическим румянцем сухих щек, был здешний хозяин. Я назвался и вручил себя его гостеприимству, а он обещал, что не даст мне в этом раскаяться. Парень в зеленом нанковом кафтане, отправлявший у него должность кофешенка, тотчас отправлен был с приказанием поставить прибор для гостя; с удовольствием я узнал, что прибыл к обеду. Полковник пригласил меня войти в дом. Его обращение было простое и приветливое. В доме я ощутил приятную прохладу. В гостиной часы с бронзовыми стрелками громко совершали свой ход над длинным диваном, подле которого стоял старинный столик с бронзовой решеткой; на нем из разноцветного дерева был набран идиллический вид, с гуляющими стадами и могилой пастушки. Итальянское окно смотрело в обширный сад, непроницаемый план которого манил мое воображение.

Хозяин был лицом примечательным. Я узнал, что он служил не без славы и проделал кампанию 799 года: сражался под начальством Багратиона при Лекко, праздновал Пасху в

Милане, слышал обещание Суворова *научить Жуберта* и видел смерть сего последнего. По кончине князя Италийского счел он свое поприще совершившимся и вышел в отставку, провожаемый тщетными уговорами товарищей. С той поры он жил в деревне безвыездно. В итальянских воспоминаниях заключилось для него все, что могло быть ему драгоценно: молодость, опасности военных приключений, честолюбие еще поэтическое, гений престарелого полководца и предприимчивой нации; я заметил, что, несколько раз возвращаясь к причинам, для коих он удалился из армии, он всякий раз приводил новую: это обличало чувства, доселе свежие. Жена его уже пять лет покоилась в ограде той церкви, которую видел я, подходя к его дому; взрослые дети от него разъехались. Соседи, уважая в нем опыт и рачительность строгого хозяина, съезжались к нему, привлекаемые его славой хлебосола и пользуясь его советами; кажется, его втихомолку считали гордецом, осуждая в нем то, что было лишь следствием одиночества. Я, однако, застал его в спокойном обществе. Его сестра, жившая с мужем в соседнем уезде, посылала к Ивану

Никитичу гостить своих детей; его племянница, лет пятнадцати, была первое лицо, круглое и живое, которое встретил я в столовой и которому представился со всеми церемониями сельского света. Кроме нее, к обеденному столу был приглашаем учитель, бывший француз, древле осевший в этих краях, где выучил сыновей полковника, а после них – всякого возраставшего в уезде дворянина; стойко выдержавший энергические нападки «Сына Отечества», в чем ему помогло счастливое незнание русских журналов, он пользовался неизменной приветливостью своего хозяина и совершенно приноровился к своему существованию: пил наливки, ходил на охоту, удил рыбу с деревенскими мальчишками и вел жизнь столько сообразную природе, сколь это возможно в нашем климате. За столом он молчал, но слушал необыкновенно внимательно, повременно произнося звуки, которые не были схожи с французскими вследствие долгого изгнания из отчизны, но и не вполне добрались до России, задержавшись на полдороге, где-нибудь в любекской гостинице, во втором этаже. Скворец, брызгавший водою в клетке,

довершал собравшееся общество. Обед, на который я угодил, составлял домашний припас, в обилии подаваемый расторопными слугами и украшенный бутылкою бордо, которому учитель отдал честь из патриотизма, а мы с полковником – из национального соревнования.

Мы разговорились. Беседа полковника была самая интересная; миланскую область, пройденную тридцать лет назад, он, по старческому свойству, помнил яснее событий прошлого года; его впечатления, поверяемые Ливием, соединяли верность очевидца с основательностию образованного человека. Зашел наконец неизбежный разговор о нынешней войне. Мой брат служил в Нижегородском полку, откуда слал то эпиграммы на сослуживцев, то реляции об их славной кончине; давно не получая ни того, ни другого, я начинал сильно об нем беспокоиться. Мои суеверные похвалы графу Паскевичу оспориваемы были полковником. Отчаянное нападение Ахмет-Бека на покоренный Ахалцык, хотя отраженное неусыпным мужеством кн. Бебутова, казалось моему хозяину непростительною виною командо-

вания; при тех мерах осмотрительности, которые были взяты при начале кампании, чтобы склонить мнение мусульман на нашу сторону, общее волнение наших единоверцев грузин на Кавказе обличало неумение выбирать сообразные положению средства, а знаменитый ответ Ширванского полка об его потерях: *еще достанет на два штурма* был, по его словам, лучшею и нечаянною критикою на действия командующего. Не чувствуя уверенности в военном деле, я ссылался на общее мнение; полковник спрашивал, сколько невежд надобно, чтобы его составить (учитель произнес любекский звук), и уверял меня, что и людей, и издержки можно было сберечь. Тут в наши споры вмешался скворец, который, скача боком по жердочке, завел было *Ты возвратился благодатный*, но перервал бодрые звуки щелканьем бича, изображаемым очень искусно, и, наскучив сим пасквилем во вкусе Руссо, с облегчением вернулся к природному посвисту. Полковник следил за его сатирическими песнями с улыбкой благосклонности.

После обеда, немного отдохнув в отведенной мне комнате, с портретами ар-

хиереев и перинами до потолка, я вышел из дому. Розы благоухали в опрятных цветниках. Я миновал их и углубился в обширный сад. Высокие вязы бросали качающуюся тень на сырой песок. Скоро я свернул на тропку, вольно вьющуюся в пышных зарослях орешника. Не заботясь о том, как выбираться из этого обширного лабиринта, над которым трудилось не одно поколение владельцев, я следовал за кривою, ветвившеюся дорожкою, пока она не вышла на большую прогалину. Я остановился. Птицы гулко пересвистывались. Предо мною высились слоистые руины кирпичной кладки. Повилика вилась в каменной пыли, украшая ее приятными белыми цветочками. Я оказался у стрельчатого окна, из которого глядел на меня *батюшка ракитов куст*; под окном еще виднелась стершаяся каменная надпись: «o divum domus Ilium et incluta bello moenia Dardanidum». – Это были развалины Трои. Давно не видал я подобного. Я запрыгнул вверх по кирпичам и замер, покачиваясь, на самой вершине: тяжелая сорока, неудобно мостившаяся на обгорелой печной трубе Укалегона, при моем возникновении сухо кивнула хвостом и шумно

поднялась с исторического насеста. Я осторожно пошел по узкому краю. Кирпичный хрящ осыпался из-под ноги в качающиеся листья лопуха. Быстро я дошел до светлой лестницы в итальянском вкусе, которая, преградив мне однообразную дорогу канатного плясуна, поднималась подковою к исчезнувшей террасе, где, верно, некогда троянские старцы проницательно спрашивали Елену о греческих вождях. С вершины лестницы, у основания которой в печальной симметрии из темного кустарника поднимались две порфировые вазы, я заглянул вглубь, ухватившись за стенной зубец. Руины вились по берегу сухого оврага; в его зеленом сумраке подымался со дна широкий папоротник; остатки дозорной башни вырисовывались по склону далее, мирно осененные старою яблоней, на чьих отмерших, тронутых зеленым лишаем ветвях покачивалось покинутое и разрытое ветром гнездо горлиц. Я знал, что от меня требуется, и старался сохранять выражение, приличное мыслям о гибели царств. Протянув руку в сторону яблони, сонно лелеявшей на себе

печальную эмблему разрушенной семьи, я громко сказал:

Я вем, приидет час, когда падет Пергам,
Падут и граждане, и с чадами Приам.

Моя роль была выполнена со всем прилежанием, а больше ждать от меня было нечего; с потоком кирпичного крошева я осыпался вниз, в сардонически дожидавшуюся меня поросль крепкой крапивы, чья негостеприимная сень взросла на обильной крови поборников и противников Илиона, и двинулся дальше, очень довольный увиденным и полагая, что дремучий лабиринт моего хозяина готовит мне еще не одно поучительное зрелище.

Рябиновая аллея привела меня к невысокому гроту. Я заглянул в него. Обычная философическая шутка таких заведений, зеркало, здесь отсутствовало. Наклоня голову, я вошел под искусственный свод и обвел сумрак рукою. Зубчатые раковины выступали из влажных стен. Осторожно двинулся я вглубь. Где-то вода неслась со сладким лепетом. Пробился свет, мерцая на стене; я

споткнулся и стал. Подле меня смутно обрисовывался сидевший на земле речной бог. Бронзовый камыш увязывал его большую голову; борода струистыми завитками лилась по груди. Его ритон, небрежно наклоненный десницею, ронял масляно блестящую воду в выбегающий из грота ручеек. Опершись на отставленную левую руку, которая преградила мне дорогу, бог недвижно глядел в светлую зелень аллеи, и в темноте я не решился угадать, какое чувство запечатлелось на его бронзовых чертах. Поглядев вслед за ним из сумерек вертепа, где он властвовал неисходно, я заметил белую женскую фигуру в конце аллеи. Мы видели склоненную голову и кудри, развившиеся по плечам; по ней бежала вспыхивающая тень от ветра, гулявшего на вершинах; кажется, улыбка лежала на ее губах. Заросли смородины не давали видеть ее всю. Я вышел из грота, отряхнулся и вдоль тонкого ручейка пошел в ее сторону. На полдороге ручеек сбивался и уходил в придорожные поросли. Я подошел к ней один. Это была, на невысоком подножии, статуя Прокриды. Она полулежала на боку. Левая рука ее обхватывала стрелу, глубоко

засевшую под грудью. Речному божеству суждено было вечно заблуждаться на ее счет. Полуулыбка ее приподнявшихся уст была выражением не кокетства, но последней судороги. Ноги вытянулись; ель, растущая у нее за спиною, казалась угрюмым вестником развязки, Тераменом этой драмы среди легкомысленного хора рябин. Что-то, вспугнутое мною, побежало прочь от статуи сквозь высокие колосья перекрестно качающейся травы. Я стоял подле изваяния, осыпанного порыжелой хвоей, думая о том, какое значение хотел придать художник сему расположению двух мифологических фигур в пустынной чаще. От изваяния Прокриды в перспективе недлинной аллеи открывался правильный сад из больших лип, высаженных по шнуру. Мне не хотелось навещать этот памятник старинной заносчивости, сгонявшей деревья на вахтпарад; я отыскал боковую тропинку, назначенную для задумчивых прогулок, и отдал ей должное, иногда присаживаясь на скамейке подле смородинного куста и глядя на широкую гладь пруда, мерцавшего между дерев, и на зимородка, качавшегося на низкой ветке подле почетной

гробницы à la Ermenonville. Наконец голод дал мне понять, что я гуляю очень давно, а чтобы не смущать моей разборчивости, он притворился чувством приличия, сказавшим мне, что не следует так явно искать уединения в гостях. Отыскав солнце средь переплетшихся ветвей, я сделал попытку повернуть к дому, обошел некоторые места дважды, отмечая в них новые красоты, и наконец выбрался на широкую аллею, по которой доносился уже аромат резеды из партера. Поперек нее шла другая; на их перекрестке под ветвями стояла недвижная фигура. Я шагнул к ней с изумлением. Это была высокая, с двумя лицами герма, выделявшаяся из всего встреченного мною в парке очевидной древностью. Жирный мох тянулся вверх по ее глубоким трещинам. Лицо, ко мне обращенное, было лицо Сократа; скульптор прекрасно передал его известные черты. Великий мудрец глядел в ту сторону, куда шла парадная аллея и откуда ветерок доносил звонкий смех племянницы и голос полковника, занимавшегося хозяйственными распоряжениями. Я шагнул посмотреть, кого резец придал ему в

сообщество; но к каменному столпу подступала дикая заросль разросшейся ежевики, из белых кистей которой я выгнал вереницу раздосадованных пчел. Я не знаю в русских садах ничего более колючего, чем ежевика; если мне скажут, что это свидетельствует о бедности моего опыта, то я во всяком случае предпочту свою бедность познанию иных, более колючих вещей. Любопытство стоило мне чувствительных жертв. Разводя цветущие стебли руками, как боязливый купальщик, я обогнул герму и обернулся ко второму её лицу. Оно было ссечено. Время, ли, небрежение, исступление религиозной пылкости или равнодушное могущество случая скололи его верхнюю часть так, что вместо лба, глаз и носа на купы ежевики, взволнованные моим вторжением, смотрел слепой камень с острыми краями; но можно было понять, что тот же резец исполнил здесь ту же работу и что в эту сторону, как и в противоположную, прежде взирали иронические черты, давшие Алкивиаду повод к сравнению с маской Силена, за которой прячутся божественные лики. Не помню, чтобы я встречал что-то похожее. С

волнением думал я о странном человеке, запечатленном на колонне, о глубоком замысле ваятеля, никого не нашедшего ему в пару, как благочестивый Данте, когда он решался рифмовать имя Христово, – наконец, о темном происшествии, из которого герма вышла навек изуродованной. Я надеялся, что это огорчительное событие произошло еще на какой-нибудь мантуанской вилле времен Цезарей или Сфорца, но не после того, как герма досталась полковнику, – иначе его гнев противу того, по чьему недосмотру старинная драгоценность впала в такое печальное состояние, был бы слишком тяжел. Я подумал о досаде, с какою хозяин, рассчитывавший украсить сад этой жемчужиной к восхищению знатоков, вынужден был притулить ее, как нищего, в непосещаемом углу и обернуть обезображенным лицом в глухие заросли; подумал о том, как одинокое жительство в обществе своего характера, всегда неутешительном, омрачается горделивыми воспоминаниями молодости и славы, как приближающаяся немощь старости вынуждает его к печальным сравнениям – и наконец устыдился своих догадок: упражнять проница-

тельность на счет моего радушного хозяина показалось мне неблагодарностью. Я вздохнул и начал выбираться сквозь кусты.

Племянница, ловившая в цветнике бабочек из желания убедиться, что она красивее, довела мне, что я прогулял чай (я просил прощения) и что до ужина мне нечего ждать. Мы разговорились; она оказалась очень милою, без всякого жеманства. Она немного скучала; в первый день по приезде она с восторгом обежала знакомые места – назавтра они казались ей глупыми; попечение полковника было ей слишком мелочным, хотя вызываемое глубокой привязанностью; но она ожидала приезда матери и своего младшего брата, думая с ними найти развлечение. Я развлек ее как мог рассказами из столичной жизни, беззаботно привирая на каждом шагу. Мы расстались совершенными друзьями; она обещала писать мне письма, а я обещал их читать; мы скрепили это взаимное обязательство клятвой. Появился полковник, где-то неподалеку выговаривавший старосте. Я рассыпался перед ним в искренних похвалах его саду. Самый умный человек находит что-нибудь в лести о себе; чтобы

довершить впечатление, он провел меня в библиотеку. Ее тихое окно смотрело в качающийся сад. Смею сказать, его книжное собрание нашло во мне благодарного посетителя. С изумлением следил я на длинных полках деятельность упорного и неутомимого вкуса, в глубине России собирающего лучшие плоды европейской учености и гения. На столе лежал развернутый недавний номер «Московского Телеграфа». Журналист называл Байрона *солнцем всемирной поэзии, протекающим по великой идее человечества*, и судил о гении нынешних поэтов по их тяготению к поэзии байронической. На полях при этой фразе твердый карандаш полковника оставил саркастическое примечание. Я улыбнулся его выходке. До ужина оставался я в библиотеке, перелистывая то одну, то другую книгу и везде находя пометы, оставленные полковником, к которому все более проникался уважением.

За ужином я навел разговор на состояние нашей литературы. Полковник сказал, что старая ее чопорность нравилась ему больше нынешних sans-façon и что милее

следить за тем, что кажется смешно, нежели за тем, что кажется гнусно, – мнение (оговорился он), конечно, порожденное стариковскими пристрастиями. О журналах наших отзывался он с большою резкостью, говоря о бесстыдстве триумфов, какие устраиваются для лиц, *лишенных чести и имения*, с тех пор как тем посчастливилось сделаться лицами *поэтическими* – суди Бог Байрону за это одолжение нашей словесности – и об упоении производить *всемирную славу*, не имеющую надежды пережить усилия пера, коим она обязана своим бытием. – Мне это напомнило одну мысль Ларошфуко о простых побуждениях, на которых, может быть, основываются исторические дела, – именно, о ревности, вызвавшей войну Августа с Антонием. Я сказал об этом полковнику; слыша его резкие апофегмы, я думал, что он должен любить меланхолического автора «Réflexions» и что сие напоминание не будет ему неприятно. Полковник пожал плечами. «Мы так приучены нашими преданиями, нашим воспитанием к его словарю, что он составляет одежду нашей мысли, без которой ее в обществе не признают, – сказал он. – Грешно

быть неблагодарным: я люблю Ларошфуко; а все же думаю, что он был бы лучше, если бы меньше занимался другими и имел мужество и терпение подметить в себе что-нибудь кроме среднего росту и волос вьющихся».

Это показалось мне несправедливым; я принялся защищать бедного герцога, говоря о его долгом одиночестве, лучшем судье человеческой души, о взыскательности его ума, отнюдь не любящего ни упиваться своей горечью, ни делать из нее ремесло. Полковник отвечал, что тот спешит делать заключения из обстоятельств слишком частных; что мысль моралиста сохраняет в нем всю пристрастность человека партии и так же, как она, подвержена упрекам в мелочной горячности. Лица эпохи Фронды и кардинала Мазарини принуждены им заново разыгрывать свою историю, небрежно переодетые в аллегорическое платье пороков и добродетелей, и мы с разочарованием узнаем за прозрачною тканью избранных наблюдений то усы герцога Бофора, то румяна г-жи де Шеврез. Его вынужденная праздность, делающая невыносимым воспоминание о допущенных ошибках, и тайное

ожесточение, питаемое противу неверных союзников и малодушных повелителей, не позволяют ему довериться, когда он принимает вид человека, ставшего над страстями, в то время как он лишь иногда поворачивается к ним спиною. – Разгорячение почти заставляло моего хозяина нарушать светскую должность уступчивого собеседника. «Его распоряжения и описания, – сказал он, – обличают военного человека, но склонность заниматься пустяками, подобными битве за хлебный обоз, портит его записки. Впрочем, в судьбе его, как и его сотоварищей, видно, что увлечение интригами не оставляло им времени на разборчивость. Несчастная война за Бордо, начатая ради утраченных дворянами вольностей, перенесла в провинцию все те бедствия, коим с горькою усмешкою посвящали они в праздности страницы важных размышлений: прихотливая ярость растревоженного народа, боязливое вольнодумство Парламента, неблаговидные переговоры с Испанией, коих сами виновники тяготились мыслию о совершаемой ими государственной измене, – стоило ли для этого покидать

Париж? Замысел связать равнодушных горожан казнью несчастного Каноля обличает изощренность макиавеллическую; самая мысль явиться перед публикой и в плаще философа, и в тоге политика доказывает неразборчивость в желании нравиться, а неумение помешать им компрометировать друг друга свидетельствует о чрезмерной надежде либо на свою удачливость, либо на читательское простодушие».

Тут уже я взмолился не приписывать совести Ларошфуко то, что принадлежало в его поступках более его веку, нежели его склонностям, или хотя бы не обвинять его разом в вещах, противоречащих друг другу. Полковник заметил, что порыв задавить Коадъютора дверью обличает в герцоге бешеный припадок гнева, после которого поди верь его бесстрастию моралиста: «и я, – прибавил он, – больше доверяю жалобам жертвы, уверяющей, что этот позорный замысел не был поддержан ее устыдившимися врагами, нежели запальчивым оправданиям убийцы, не имеющего себе других защитников. Человеку, столько заботливому о своей репутации в потомстве, стоило чаще

напоминать себе истину, им самим выведенную: Il est plus facile de paraître digne des emplois qu'on n'a pas que de ceux que l'on exerce». «Это напоминает известное замечание Тацита о Гальбе: capax imperii nisi imperasset, – подхватил я: – и, думаю, вы обращали внимание…» Но тут племянница разразилась бурными попреками, из которых следовало, что ей не доводилось есть более скучно с тех пор, как ее за обедом заставляли говорить по-немецки, и что если перебирать все то, на что в этом доме обращали внимание, не хватит жизни, о которой ее все время учат, что она слишком коротка. С комическим усердием унимал полковник избалованного ребенка, обещая ей беседы более приятные. Учитель глядел на все с терпеливостию своего ремесла; я наслаждался.

После ужина мы вышли из дому. Вечер был замечательный. В дремлющем воздухе издалека долетали кличи пастухов, привычно ругавших привычное стадо. Задумчивый месяц плыл сквозь меркнущие клубы облаков. От реки тянуло туманом. Роскошный аромат цветников мешался с запахами кухни, откуда слышался оживленный голос моего кучера,

быстро сдружившегося со здешнею дворней: он повествовал о петербургской жизни, приписывая себе слишком многое в ее течении. Какие-то птицы пели в полковничьем саду: я представлял, как они перепархивают во тьме над белеющей Прокридой. Первая летучая мышь начертала свой готический полет над тихою листвою. Мне было грустно. Полковник не препятствовал мне удалиться в библиотеку. Снова посетил я собрание друзей, бывшее единственной отрадою для умного хозяина в его сельском одиночестве. Огонь свечи падал то на томы римских историков, то на сочинения итальянских поэтов. Среди этого избранного богатства не сразу заметил я старинный том Ларошфуко, переплетенный вместе с мемуарами Лашатра. Наш разговор за ужином пришел мне на память; я бережно снял книгу с полки. Знакомые мысли пробегали перед глазами, не столь волнуя мою душу, как бывало; я слишком свыкся с ним, чтобы испытывать что-либо более сильное, нежели память прежних увлечений. Вдруг рассеянный бег мой прервался. На широких полях я увидел сделанное пером примечание: рука, чьи

шутки над «Телеграфом» читал я давеча, приписала имя одной дамы, известное среди здешнего дворянства. Подле этого имени Ларошфуко говорил об *удовольствии говорить о себе* (l’extrême plaisir), по силе которого должно подозревать, что оно не разделяется нашими собеседниками. Г-жа ***, которую при этом случае вспомнил полковник, обрела никем не оспориваемую славу пристрастием давать фейерверки, на которые изводила она большую долю семейных доходов и о которых выдерживала длительные бои с супругом, только тогда решавшимся возвысить голос своей осторожности, если очередное празднование русской славы приходилось на особенную засуху. Впрочем, и угроза доживать век на пожарище мало препятствовала ее усердию: пышно загорались картуши, затейливые фигуры колесили в ночных облаках, Россия, по печалях паки обрадованная, поднималась на Олимп рассказать о новом торжестве своего оружия, наполняя куртины и аллеи острыми пороховыми куреньями, и между тем как растревоженные поселяне, задрав головы к горящему небу, молили его обратить сии

знаменья на добро, разборчивые знатоки, загодя приглашаемые со всей губернии в дом ***, делали замечания на аллегорическое зрелище. Кавелин, знакомый её по уезду, рассказал о ней государю. На каком-то бале тот сказал ей: «On dit, Madame, que vous donnez de grandes fêtes». – «Oh, pas de grandes choses, Sire, – отвечала она: – j'ai entendu parler que c'est chez vous qu'on invente tant d'amusements à Noël». Это сказано было года два назад. Муж рассудил за благо увезти ее обратно в деревню. – Неожиданное применение, сделанное полковником, показалось мне метким и смешным, хотя не без желчи. Я начал смотреть внимательней – и не ошибся: имена, чуждые французскому уху, являлись на полях то здесь, то там, выведенные рукою полковника, всегда ровной, всегда неумолимою. Среди сего подневольного хоровода губернских лиц, обвиняемых кто в жеманстве, кто в глупости, кто в целомудрии от неумения его лишиться, нашел я и моего старинного знакомого, изобразителя чертей, чей архангельский промысел заставил меня покинуть Петербург и привел в эту библиотеку: полковник приписал его имя при

изречении, гласящем, что наше благоразумие и наше имущество равно обязаны случаю (Notre sagesse n'est pas moins à la merci de la fortune que nos biens); это показалось мне слишком сурово, и я вступился бы за своего гостя в Шестилавочной, если бы спорить на полях не казалось мне неуместным. С каждою страницею сего язвительного синодика, куда, в одинокой тишине библиотеки, полковник вписывал примечания на ум и нравственность своей долговременной обители, находил я новые имена, из которых иные были мне знакомы; я не уставал дивиться: при том радушии, с каким хозяин мой предлагал любому охотнику в распоряжение свою библиотеку, лишь небольшая любовь его сограждан к чтению могла быть причиною, что он доселе сохранял добрые отношения со всей губернией.

Тут мелькнула новая пометка: я ждал встретить нового уездного честолюбца или скрягу – и с удивлением увидел, что ошибся. Ларошфуко говорил о том, что, предпочитая наших друзей нам самим, мы только следуем своему вкусу и желанию – но сие предпочтение делает дружбу подлинною и

совершенною (мысль, над которою я много тревожился, когда еще имел вкус испытывать свои побуждения). Полковник спрашивал, в сем самолюбии дружества должно ли ему видеть свой портрет. Тут, увлекаемый новым любопытством, я взялся смотреть все сызнова: но нигде более не обнаружил пометок, касающихся до личности их автора. Немного задумался я над странным занятием моего хозяина, а потом зевнул и пошел спать.

Поутру я проснулся поздно, разнежась на сельских перинах. Солнце было высоко, и птицы, заливаемые янтарным светом, пели свои беспечные гимны. Меня звали к завтраку. После него я простился с радушным хозяином, извиняясь неотложностию своих дел; полковник меня не удерживал. Назавтра надеялся я быть у дяди. С сожалением я покидал дом столь гостеприимный. Нам собрали еды в дорогу; кучер, придерживая что-то под полою, угнездился на починенном экипаже, пригласительно щелкнул бичом, и мы покатились между липами, стройная чреда которых напомнила мне, что среди забот сегодняшнего утра я все же успел с бокалом бордо уйти в садовые аллеи и, вытерпев

ожидаемые неудобства, совершить почтительное возлиянье пред безликим столпом, глядящим в дремучую зыбь ежевичной поросли.

Под буковым кровом

O Meliboee, deus nobis haec otia fecit. – *Verg.*

Г-н W. огляделся. Ветви еще качались, потревоженные его быстрой ходьбой. Из-за тисового боскета доносились внушительные рассуждения Лейбница и звонкий тон принцессы Софии. Квадратные тени крон недвижно лежали на солнечной траве, стягиваемые металлической вязью кузнечика. Выражение досады показалось на лице г-на W., когда он притянул к себе еще одну ветку и тотчас отбросил ее; мысль, что Лейбниц может быть прав и что среди мириад листьев в герренгаузенском саду не найдется двух похожих, была ему неприятна, когда он вспоминал о горячности, с какой оспоривал это утверждение. Ему казалось, что вне зависимости от требований тщеславия, вообще закономерных, и от нежелания быть смешным, держась ошибочных мнений, он должен был получить преимущество в этом споре, несмотря на то что принять противную сторону значило похвалить разнообразие

природы – поступок тем более уместный, что в настоящий момент они пользовались всеми плодами ее равнодушного гостеприимства. Если бы дело шло о какой-либо истине, так ослепительно ясной, что прекословить ей было бы проявлением своеобразного бесстыдства, г-н W. не мыслил бы ей противоречить: но так как ни о чем подобном речь не шла, он вправе был отождествлять с философствованием ту неизбежную долю самолюбия, которая заставляет упорствовать в притязаниях на правдоподобие, пусть и никем не разделяемых. Он пошел по аллее, иногда останавливаясь и приникая к ветвям. Было тихо. Розовые ленты завеяли впереди по темной зелени, и он вышел на круглую арену, где сходилось несколько дорожек и где еще не разобранный павильон, в котором несколько дней назад по желанию курфюрста были предприняты театральные забавы, тихо шелестел останками пышных ухищрений. Издалека г-н W. увидел стоявшего на сцене человека, в задумчивости опиравшегося на театральную балюстраду; лица его видно не было, но он был одет в такой же точно камзол, как на г-не W. Тот думал уже, какой

остротой при обмене любезностями сгладить неизбежное смущение от той разновидности соревнования, коей женщины поражены со времен дочери патриарха, вышедшей, как сообщает деписатель иудейского народа, *видеть жен области той*, и которую мужчины успели перенять у женщин даже до того, что могут притязать на первенство, – однако, подходя к павильону с небольшой улыбкой на лице, рожденной этим наблюдением, он увидел, что незнакомец спрыгнул и исчез по ту сторону театрального павильона.

Г-н W. остановился. Полуциркульное здание высилось перед ним. Между колонн он поднялся на помост. На отставшей холстине, призванной возместить скудость мира услужливостью изобретения, кроны деревьев волнообразно колыхались, передавая движение зверям и людям у их подножья. Симметрически выгибавшиеся над головой г-на W. гирлянды выносили из сумрака, стоявшего под потолком, свои увядшие переплетенья. Он посмотрел на приспособления и машины, раскрашенные в цвет стихий и предназначенные доставлять на сцену избранных представителей мира, меж тем как

существа, не фаворизованные природой и добродетелями, могли полагаться лишь на свою расторопность. Красные и синие стекла бросали праздничные лучи; г-н W. протянул руку, любуясь, как она заливается пунцовым, и медленно вернул ее себе. Хрупкая совокупность событий совершила свой круг и растаяла, г-н W. стоял среди гулкой сцены, не опасаясь быть задетым кем-либо из существ, ее населявших; но разноцветная среда, сквозь которую они двигались, еще стояла здесь, недвижно кружась вместе с солнцем и готовая снова принять в себя истории любой длительности, и сохраняли исправность машины, способные обеспечить богам и героям любую форму условленного преимущества. По пестрым доскам г-н W. прошелся вдоль задней стены, выходящей на закрытую аллею (в ее перспективе находилась воображаемая страна, откуда на герренгаузенскую сцену прибывал ожидаемый спаситель), и спрыгнул вслед за незнакомцем. Непрерывная вязь ветвей сомкнулась над ним, подобно глубокой воде или одичавшей триумфальной арке, и он пошел в искусственном полумраке, повременно обрывая по два листа с

очередного дерева. На сыром песке он заметил свежий отпечаток башмака и поставил рядом свою ногу, но не успел точно увидеть, различаются они или нет, оттого что невидимая птица так просвистала в глубине по правую сторону от аллеи, что ему послышалось, будто кто-то, ступая по веткам, выходит оттуда на дорогу, и г-н W. обратился его увидеть, – но птица, перепорхнувши, свистнула слева, и он, уже успев понять свою ошибку, обернулся тем не менее и туда, и от этого немного пошатнулся и схватился ладонью за закружившуюся голову; и в этом состоянии ему вдруг с необыкновенной ясностью вспомнилось, как незнакомец в камзоле, точно как у него, облокотясь на павильонные перилы, выстукивал по ним какую-то мелодию пальцами, на одном из которых был яркий перстень, что г-н W., с его хорошим зрением, разглядел, но, конечно, не расслышал. Когда рассеялось в голове, он шагнул далее и не останавливаясь пошел к выходу из аллеи, где что-то остро блистало.

Он вышел к фонтану «Алфей и Деянира». Речной бог, еще без следов несчастной битвы на курчавой голове и с

выражением непобедимого самодовольства, преподносил прекрасной нагой Деянире, нестерпимо лучащейся на солнце, зубристую раковину, должную означать власть над всем порожденьем речной глубины, которую Деянира принимала левой рукой (дурной знак), держа в правой, несколько на отлете, бронзовое зеркальце, куда гляделась пред появлением бога. Пенистый ток ниспадал из раковины им под ноги, вокруг которых два свившихся дельфина, страшно выпуча затянутые патиной, как ряскою, глаза, извергали из сомовьих пастей тяжелую влагу в плескучие обводы фонтана. Недвижно стояла ажурная радуга в водяной пыли, словно обещая, что потопа больше не будет, что бронзовым глазам статуй не придется видеть ни проплывающих над ними гуртом овец, ни тюленей, запутавшихся в ветвях дуба, и что назидания, взывающие к чувству боязни, сменились более духовным воздействием просвещения. Г-н W. услышал близкую поступь и еще успел увидеть, как спина человека, которого последние минуты он для чего-то преследовал, скрывается за витыми воротами лабиринта, простиравшего

свою зеленую массу далеко вдоль перекрещивающихся аллей. Г-н W. кинулся в ворота, вступил в трепещущие листвой ущелья, повернул за первый поворот и замедлился, не уверенный, что сумеет выбраться отсюда в краткое время – ибо с правилами герренгаузенских лабиринтов он не был знаком – и помня, что его ожидают принцесса и Лейбниц и что, извиняя свое длительное отсутствие его подлинными мотивами, он может к шуткам над своей горячностью прибавить удивление своими романическими склонностями. Ему, однако же, казалось, что его поведение удовлетворительно объясняется тем, что он представлял себе довольно хорошо круг людей, которые могли в эту пору посещать парк; что человек, увиденный им, не был схож ни с кем из них и что во всяком случае его присутствие должно иметь веские основания. Всего несколько минут назад расставшись с дочерью курфюрста, за время-препровождение которой он думал быть отчасти ответственным, г-н W. не мог не считать справедливым интерес к неизвестному посетителю, чья таинственность не была

свободна от подозрений в силу несчастного жребия всех государей, которым оказывают больше почтения, чем испытывают. Ему услышалось, как незнакомец, проходя мимо за лиственной преградой лабиринта, напевает мелодию, которая показалась ему знакомой, – но, еще ловя удаляющийся мотив, г-н W. наконец понял, что смутный звук, над которым он напрасно утруждает воспоминанье, видимо, производится фонтаном, расположенным в центре лабиринта, и что незнакомец окончательно перестал быть различимым среди шелеста струй и листвы. Кузнечик скакнул перед ним по траве и скрылся. Г-н W. оторвал два листочка с шевелящейся и качающейся стены: они были разные. Он шагнул вперед, и среди преднамеренного хаоса что-то ослепило его: в крупной, темной листве, скрытой от солнца высотою стен, несколько соседственных листьев горели нестерпимым золотом. Г-н W. поглядел с удивлением, прежде чем раздвинул их, чтобы выглянуть сквозь озаренной листвы: оказалось, что отшлифованное зеркальце в руке Деяниры, отражая солнце, бьет в этот час сюда, проницая за сквозящие

стены лабиринта. Он поглядел еще минуту на дымный луч, пересекавший перед ним мглистый коридор, прежде чем повернуться и выйти из лабиринта, где скрылся его незнакомец и откуда, возможно, он уже счастливо выбрался на другую аллею в ту минуту, когда г-н W., все еще во власти задумчивости, оставленной в нем покинутой машинерией Флоры, бесстрастно развертывающей свой важный замысел в этот пустынный час, медленно выходил из витых ворот. В отдалении нескольких сотен шагов на широком взлобье стоял круглый храм, выстроенный курфюрстом, дабы напоминать о величестве творения и о блаженстве созерцать в нем распоряжения Божества; стройные колонны его мерцали в перистой тени молодых акаций. Если бы г-н W. имел возможность достигнуть до этого места, господствовавшего над окрестностью, то, глядя вниз от храмовых ступеней, знал бы точно, где находится увлекший его незнакомец, но, к несчастью, между ним и высокою площадью храма пролегало русло речки, в сем месте изогнутое полукругом, нарочно расширенное и прилежно под-

держиваемое. Скудные берега ее укреплены были гранитом со свисавшим чугунным кольцом, за которое хватался, причаливая, лодочник, назначенный перевозить гуляющих от лабиринта к храму, но в жаркие часы, когда ему напекало голову, уходивший дремать в рощу Пана, чему не препятствовал курфюрст, видя в этом уместную аллегорию. Спускаясь по берегу, г-н W. сильно поскользнулся – удержался, но черпнул размахнувшей рукою песку. Он осторожно присел на корточки и окунул руку в теплую воду. Поднявши голову к небу, меж тем как сквозь его пальцы текли благонамеренные струи изогнутой курфюрстом реки, он видел, как храм созерцания, похожий на сквозящее облако, возносит классический свод к белеющей лазури, где кружит далекий коршун, словно прикованный к ступице гигантского колеса, – и г-н W., щурясь от солнца, представил, как если бы он, сходя по ступеням храма, на которые золотая акация бросает крупную рябь, точно ливень на реке, с этого избранного места наблюдал весь обдуманный замысел княжеского парка. Он видел оттуда себя, сидящего над темноблещущей излукой аллегорической

реки, и омкнутое пепельным горизонтом полудня бесконечное множество того, что было уготовано встречаться ему по дороге сюда и что таким же образом будет сопровождать его обратный путь, представительствуя не только за свое предписанное значение, но и отчасти за значение множества других вещей, которые он увидел бы, если бы выбрал другую последовательность аллей. Он видел в тенистых аллеях насупленные гроты, подставляющие тому, кто заглядывает в их жерла, стоящее против входа зеркало, для удивления от непредвиденной встречи; видел солнечные часы и причудливые тени фонтанов на влажном песке. Он видел ветви, качающиеся от прыганья и возни щебечущих птиц, и невозмутимую гладь квадратных прудов, по которой далеко разносится гам разноплеменного птичьего стада из менажерий, как быстрое бормотанье человека, на миг выбившегося из беспокойного сна. Он видел, наконец, всю кропотливо размеренную окрестность, от Меркурия в утомленной позе умного эпикурейца подле главной лестницы, ртутно блещущего между двух шарообразно

остриженных орешников, до Сатурна в старинной дубовой посадке, чье каменное лицо, затененное широкой шляпой, глядит за парковую грань туда, где уже тянутся терпеливые крестьянские уделы. Он опустил глаза к своему безмолвно качающемуся отражению. Какие-то зеленые волокна стлались по дну в прихотливом подчиненье струям, роющим витые бразды в песке. Что-то проковыляло по дну, украшенное конической мозаикой из слюдянистых обломков раковин, и пропало в темноте. Все дышало смутной сонливостью. Странно было думать, что лишь стремление столкнуться с человеком, мелькнувшим в аллее, привело сюда г-на W.; среди тех разнообразных чувств и впечатлений, которые он испытывал в течение своей прогулки, потребность видеть в природной архитектуре черты всеобщей разумности, законы которой он одарен был способностью познавать в себе самом, казалась ему той невидимой целью, что руководствовала его в безлюдных аллеях, между отбрасывающих короткую тень боскетов. Вдруг ему повиделось, что какое-то лицо смотрит на него из глубины белыми глазами, и хотя через

минуту стало ясно, что только игра теней на углублениях дна вкупе с мгновенным и случайным переплетением водорослей вызвали это заблуждение, в чем он убедился, передвинувшись в сторону, но выражение явной ненависти, которым дышало это сцепление пятен и очертаний, подействовало на него так неприятно, что он рассудил за лучшее покинуть это место.

Он пошел вдоль воды и остановился против украшавших другой берег пышных зарослей барбариса, из которых по пояс поднималась обнаженная мраморная статуя, о названии которой г-н W. мог только догадываться. Белое ее лицо отражалось среди воды, темные спины рыб сновали в его рту и глазницах, точно змеи или черви в расселинах черепа. Г-н W. перевел взор и увидел, что подлинное лицо статуи не обнаруживало осведомленности о тех печальных, но поучительных выводах, к которым располагало подражание ему, предпринятое природой; оно несло выражение благосклонности, самодовольной от сознания того, что красота тела, сияющего сквозь листву, даст этой благосклонности

множество поводов проявиться или быть отказываемой. Блеща мутным перламутром, рыбы кусались друг с другом в беспокойной воде, доносящей до берега угасающий намек на их поведение, толкались зевающим ртом в упругую грань, за которой опасно развертывалось не подозреваемое ими пространство воздуха, и совершали неуловимые эволюции, послушные общей склонности. Повременно что-то всплескивало у нависших берегов, и трава дрожала, задетая брызгами.

Г-н W. поднялся и ощутил, что солнце уже очень напекло ему голову, пока он опрометчиво сидел над рекой, и что при вставании сухой и знойный шар разросся и почернел у него в глазах. Пора было скрыться в тени. Какие-то два цветка, обреченные неоправданно существовать за пределами цветочных часов, где их изученное обыкновение указывало бы гуляющему на расписание его личных обязательств, выбились из прибрежной травы, побудив г-на W. сорвать и сравнить их: отброшенные, они поплыли, очередно перегоняя друг друга медленными кругами. От Алфея и Деяниры, застывших в неумолимом сватовстве среди

радужных брызг раздробленной и горячей воды, он принял влево, взяв в рассуждение, куда и как далеко могли уйти его спутники. Он шел рассеянно, думая еще повидать брошенный театр, а когда сообразил, что театр остался далеко в стороне и что воспоминания не руководят им на этой дороге, уже буковая аллея простирала над ним высокую тень, где каждое трепетанье листа было предугадано мастером, коего профессия научила не любить хаос как укоризну его репутации. Ступая по песку аллеи, в табельные дни текущей волнами народа, а ныне пустынной и предупредительной к его шагам, он вдруг понял, что неясно представляет себе эту рубрику парка и не знает точно, как идти, чтобы вернуться к разговору с Лейбницем. С грустью он подумал, еще чувствуя тяжесть в голове, что достаточно небольшого физического воздействия, чтобы затруднить разуму пользование его собственными силами, которое, как кажется, составляет его внутреннюю область, свободную от каких бы то ни было ограничений со стороны тела. Что-то заблестело сквозь листву впереди, и он,

приблизившись, с некоторой досадой увидел гения, забытого между ветвей, откуда тот, держась на скрытом канате, вылетал во время недавних торжеств. Его позолоченное тело изъязвляли пороховые опалины от фейерверка, а благословляющий жест оказался удобен для гнезда, затеянного горлицами, чьи встревоженные головы, глядящие вниз, напомнили г-ну W. несколько строк из Проперция. Одаренный сомнительным происхождением из рук ремесленника, соревнующего цеховым привилегиям природы, и возможностью долго противиться смерти в силу добротности материалов, что были использованы его создателем, благотворитель княжеской семьи возвещал настороженным горлицам генеалогические откровения, не рассчитанные на их ограниченную осведомленность, и упрямо возносил в высоте над аллеей золоченую длань, сияющую на полдневном солнце и смутно светящуюся ночною порою, средь влажной листвы. Г-н W. подумал, что эта трогательная забывчивость распорядителя торжеств, заставившая покровительствующего духа претерпевать то, что он мог бы счесть

неблагодарностью, учитывая в особенности горлиц и дожди, служит хорошим символом того неустранимого присутствия, коим применительно к герренгаузенскому парку располагает один человек, своею неоспоримою властью и взвешенным вкусом его создавший и поддерживающий в нем настойчивый порядок расположения и следования, так же точно, как его проницательное и терпеливое благоволение соглашает те сложные сцепления частных и общих интересов, именуемые государством, кои всемогущий промысел передал в его небезотчетное распоряжение.

Г-н W. быстро пошел по аллее, размахивая рукой с листком того бука, в чьих ветвях, удерживаемый прочным тросом, гнездился тяжелый гений государства; он почти вышел из аллеи, когда взгляд, брошенный в сторону, на узкую дорогу, обсаженную елями, остановил его: в затененной глубине стоял, спиною к нему, его давешний незнакомец, склонивши голову и раздумчиво чертя тростью по песку. Насупленный зев грота темно открывался перед ним, проблескивая влажным вер-

тикальным отсветом, когда качающиеся ветви высоких елей пропускали в густую аллею солнечный луч. Томное, однообразное урчанье вяхиря раздавалось из возвышенного сумрака старых деревьев. Г-н W. со всею решительностью повернул туда, вошел в чреду елей, но вдруг увидел, что его партнер по странному гулянью, быстро пригнувшись, скрылся под нависшими ветвями и сделался невидим; даже шаги его по мягкому настилу хвои не были слышны. Г-н W. остановился там, где оставались следы его трости. Вяхирь шумно пролетел меж ветвями, и грот широко блеснул. Г-н W. разобрал вычерченные тростью буквы: это было из той элегии Проперция, которую вспоминал он минуту назад. Под ногами, средь хвои заметил он перелетающий лист бука, видимо, оброненный ушедшим незнакомцем. Он нагнулся поднять его и приложил к тому, который все еще оставался у него в руке. Показалось ему, что они похожи: в желтых прожилках, в редких зубцах было общее; но, не докончив сравненье, он отбросил их и, выразив на лице улыбку досады, быстро

направился в ту сторону, где из-за деревьев слышался уже рассудительный голос Лейбница и смех Софии.

Лошадь

To Rofer

К похоронам отца я не успел. Известие о его кончине запоздало, и дела задержали меня в Москве. Я испытал облегчение, когда понял, что приеду в город после того, как все будет кончено. Мне стыдно было лицемерить среди обрядов последнего прощанья. Что в этих обстоятельствах мной не руководствовали соображения более глубокие, нежели внушаемые благопристойностью, не делало мне чести, но я отложил пустое попеченье, ища лишь пощады для себя. Я не испытывал уважения к человеку, чьей душе испрашивал сейчас снисхождения у небес приходской священник в клубах ладана, и скорбь, возникавшая во мне помимо воспоминаний о временах нашего общежития, не столько меня занимала, чтобы я рисковал быть искренним там, где этого не ждали: ни славиться его бесчестием, ни оплакивать его добродетели мне не было охоты.

Когда-то он был не без образования и человеком, испытавшим всю притягательность беспокойного идеализма, так щедро

разлитого и так жадно впитывавшегося молодыми людьми в атмосфере сороковых годов. Беспечность не позволила ему заметить, когда и как исподвольное омертвение тех заповедей и чувств, кои кажутся непременным багажом живого человека и утрату которых с таким ужасом оплакивает Гоголь, говоря об ожесточении и хладе неумолимой старости, превратило его в connexion четырех-пяти односложных отзывов на однообразные раздражения, совершавшихся в нем каждодневно с исправностью неповрежденного поместного организма. Возможно, мои знакомства небогаты, но я не видал человека, в меньшей степени располагающего тактом действительности, – а меж тем на нем лежали обязанности отца семейства и поместного владыки, о которых он был уверен, что блюдет их в безупречности, достойной всяких похвал. В детстве он приучил меня к тому болезненному энтузиазму, который для него самого сделался ритуальной привычкой нервов; мои рыданья, мой восторг возвращали его к *возвышенному*, к струне в тумане, к благородству юношеской дружбы, к шилле-

ровским цитатам (никогда не длиннее полутора стихов), ко всем тем мистериям отечественной сентиментальности, с которыми он давно разлучился; я имел для него ценность воспоминания. Смерть моей матери была сильным для него потрясением; растерянность скоро сменилась забытьем: он принялся пить, и девичья начала испытывать на себе пароксизмы его любезности. Он не дошел до учреждения гарема (отчасти потому, что от души считал себя порядочным человеком и смутно чувствовал, что, допустив в свой быт эту институцию, он не сможет более быть совершенно уверен в этом смысле), но его фаворитки были на виду и кроме материальных выгод познавали все удовольствие быть в глазах дворни предметом соревнования. С удивленьем и унынием я сознавал, что не люблю его. Отлучки из имения бывали для меня отпуском на волю; и с каким подавленным чувством возвращался я домой, где меня ожидали старческая сварливость, сладострастие и отвратительный цинизм человека, растерявшего все, что можно, и не имевшего ни мгновенья трезвости, чтобы ужаснуться при самых значительных потерях,

но созерцавшего их с отупелым самодовольством. Смотреть спокойно на его одичание было невозможно; отчаяние охватывало меня; а между тем любое прекословие побуждало его, как всякого слабовольного человека, с удвоенным ожесточением практиковать привычные утехи, осуждение которых он считал мятежом и кощунством, или же, когда он хотел насладиться вполне, то обустроивать их тайно и с уловками самыми постыдными. Мои наследственные черты не способствовали нашему сближению: где можно было взять необоримой, ежедневной кротостью, обезоруживающею (как говорят) самую закоснелую черствость, я разражался укоризнами; усвоив силу рассчитанного сарказма, я заставлял отца задыхаться от злобы и находил в этом удовлетворение: не считая его достойным снисхождения, я не был приучен и к справедливости. При первой возможности я уехал из имения. Слухи, доходившие до меня, показывали, что при видимой бесцельности моего присутствия и вызываемых им взрывов обоюдной неприязни мой отъезд позволил ему ничем более не стесняться.

Не знаю, как он встретил рескрипт генерал-губернатору Западного края (после обеда он дремал под благонамеренной сенью «Московских ведомостей»). В деятелях эмансипации, графе Ланском, Ростовцеве, Милютине и прочих, он нашел озорников, от лица государства поставивших под сомнение его способность быть неподотчетным благодетелем, кои не только вступились в его привилегию сиять на злыя и благия, но именно выказали намерение сиять за него, между тем как он своё сияние почитал неотчуждаемым. Когда манифест 19 февраля пригласил его осенить себя крестным знамением, он уклонился; навлеченные реформой нарушения его власти завершились тем, что, уладив раздел с мужиками, при котором он всюду вредил себе в сладостном ожесточении обиды, он отдал имение арендатору и переехал в уездный город, верстах в сорока от поместья, где его жизнь пустилась в прежнем русле, умеряемая лишь подорожанием привычных сластей в отсутствие крепостного ресурса и высокими упованиями, обращаемыми ныне на дворянское сословие. За несколько недель до смерти

он заболел и слег в постель, из которой его переложили уже на стол и в гроб; какие чувства, какие воспоминания и соображения сопровождали его длительное стоянье на той грани, подле которой любой самообман должен спадать, как ветхое платье, я не знаю; самое известие о его кончине я получил почти случайно.

Я приехал в город под вечер и долго искал жилье, где обитал отец, пока не обнаружил его на задах кладбищенской Никольской церкви: это был старый мещанский дом, третий или четвертый от обозначавшего городскую межу оврага, в который съезжали кривые огороды с капустой и репой. Под окнами располагался палисадник, где меж двух скудных акаций, распоряженных в казенной симметрии, качались баканные головки татарского мыла. Полный штат жилья составляли наемная кухарка, служившая также в ближайшем трактире, откуда она принесла профессиональный фатализм и неумение готовить мясо, и дворовый, осталый с крепостных времен, Аким (я помнил его по усадьбе), вышедший мне во сретенье в серых нанковых штанах и сюртуке

с прожженным рукавом, дабы сдать мне, с поклоном, снизку ключей, хранившихся у отца.

Я вошел в дом. Его комнаты, выказывавшие безразличие не только к понятиям удобства, но к простой чистоте, сочетали длительное бесстыдство с внезапным запустением. Отсырелые, заслякощенные обои отставали от стен, а понизу истлели в белесые лохмотья. Шаги мои гулко стучали по доскам пола, вытершимся до вицмундирного лоска. Посреди кабинета, служившего также спальной, стояли, носками в противоположные стороны, два сапога и пахли ворванью. Я велел вынести их и растворить окна; но дух более крепкий, въевшийся во все складки комнаты, – застоявшейся скверны, смешанной с запахом нечистого и больного тела, – встречал меня при каждом повороте. В окно глядел разросшийся куст желтой малины, за которым виднелась конюшня с темными оконцами над стойлами. Из аккуратного расположения мертвых мух, завязнувших в паутине вдоль подоконника, явствовало, что их ловля и водворение на места поселения согласно решению суда были pars magna неистощимого досуга, каким

пользовался хозяин кабинета. Я отпер ящик стола; в нем лежала пачка разномастных ассигнаций вперемешку с выкупными свидетельствами, перехваченная розовой завязкой с бахромой. Рядом лежала россыпью значительная коллекция французских фотографических карточек, из сорта «необыкновенных по жизненности и движению»; к некоторым пристал засохлый изюм, прибавлявший к жизненным позам и движениям еще и положительную достоверность в смысле объемов. В отхожем месте на угрюмом гвозде были пришпилены несколько разодранных страниц немецкого лексикона; своей очереди покорно дожидалось слово Menschenleere и ему соседственные, из чего можно было заключить, что такие насущные формулы общественной мысли, как Staatshaushalt, Volksbewußtsein и другие, доднесь избегали общей участи, с тем чтобы в дальнейшем, отдав свой долг природе, лечь в основу необычайного плодородия местных суглинков, когда по прошествии веков на месте наших жилищ раскинутся поля, где пшеница будет давать урожаи сам-девять и сам-десять, а образцовый поселянин будет

дивиться отрытым в земле гигантским костям наших современников, пристойно укрытым «Московскими ведомостями». От всего этого мне захотелось знать, остался ли после отца живой инвентарь, чьи ноги способны носить что-то, кроме себя самих.

– Как же, есть лошадь, – отвечал Аким: – куда без них жить; вона, в стойле проклажается.

– Как она? – спросил я.

– Десятый только годок, еще тянет. Только, барин, с прикусом она, вот что.

Я заглянул в двери конюшни. Когда глаза привыкли, я увидел лошадь: она стояла, мерно раскачиваясь из стороны в сторону; доски стойла перед ней, сильно изгрызенные, белели щепой. В паху у ней я разглядел глубокую впадину. В довершение всего она была чубарой масти, словно забрызганная жидкой грязью, особенно щедро испятнавшей ее голову; эта масть совершенно сходствовала со стенами конюшни, измызганными в такую же крапину, так что если природа в этом случае преимущественно преследовала цель создать существо, способное прятаться в конюшне, она могла праздновать успех.

– Скучает, должно, – пояснил Аким, видимо испытывавший к лошади сочувствие. – Оттого и дерево ест.

Я пожал плечами и обернулся к дверям, положив в сердце своем продать эту скучающую лошадь в самое ближайшее время. Что значило это *особое* намерение, притом что продавать я собирался все и непромедлительно, – Бог весть; но жалость пополам с отвращением, которые она умела мне внушить, не были для нее счастливыми рекомендациями.

– Он что же, верхом ездил?

– Как же, – сказал Аким, с обидой на такое предположение, – не такого звания-то небось: коляска вон в каретном сарае.

Коляску я не пошел смотреть. Та ее часть, что видна была в открытых воротах сарая, который Акиму, по воспоминаниям поместного роскошества, нравилось звать каретным, давала гораздо больше поводов острить, чем соблазнов путешествовать. Лошади покамест было мне довольно, а в коляске нужды не предвиделось.

По случаю моей внезапности мой голод был не столько удовлетворен, сколько

напуган слоеными пирожками на прогорклом масле, спроворенными нашей благоразумной стряпухой к первым сумеркам. Посылать в трактир я не стал, успев узнать, что наша баба простирала свое человеколюбивое поприще и туда и, следственно, искать там лучшей доли значило бы сравнивать, у какого берега вода слаще. На новом месте я спал отвратительно. Где-то мышь с остервенением скоблила сухую корку, и в ночной тишине эта изнурительная трапеза отдавалась на весь дом. За отставшими обоями неутомимо шуршали какие-то насекомые, ползя вверх, сваливаясь до полу и снова взбираясь под влиянием того, что наша пресса называет «вековечным инстинктом неразумных наций». Клопы тоже не тянули вручить верительные грамоты, хотя некоторая церемонность с новооткрывшимся источником пропитания не вызвала бы моих укоров; я ворочался, стонал и, потеряв наконец терпение, приподнялся и крикнул Акиму, ночевавшему, по рабской привычке, у дверей, чтоб утром же вынес диван на двор и обварил кипятком, на что Аким отвечал сонным кряхтеньем. Ночи были холодные, а печь с вечера не топили; под утро мне стало зябко под

бедным одеялом – я нашарил в потемках старую шинель отца и укрылся ею; что-то высыпалось из нее и с дробным звуком раскатилось по полу, но я, разумеется, не стал интересоваться. В довершение всего, тот кислый дух умирания, что стоял во всей комнате, имел преимущественным источником диван, на котором я улегся спать и на котором протягивал последние недели отец. Когда он ел лежа, держа тарелку на коленах, неопрятной, слабеющей рукой, что-то все время проливалось и заваливалось в щели дивана, спеклось там в бугристые потеки и теперь при каждом движении дышало на меня таким тоскливым смрадом, что сердце мое заходилось.

Поднялся я раздраженный и с больной головой, в десятом часу. Переступая по холодному полу, я обнаружил, что из кармана ночью рассыпались каштаны. Бог весть, для чего они попали туда и с каких пор там лежали; я вспомнил старую каштановую аллею при въезде в наше имение и подумал: что, цела ли она? и не завалялись ли эти бурые, сморщенные желуди в отцовском кармане с тех времен, когда мы гуляли под

широкими кронами и он нес за мною в руках каштаны, которые я бегал собирать, чтоб любоваться их глянцевой чернотою? Я сложил их обратно в карман. После обедни, от которой доносилось дрожащее гуденье небольшого колокола, к нам пришел кладбищенский священник, о. Николай, соборовавший и отпевавший отца, человек печального и кроткого вида. Прослышав о моем появлении, он счел себя обязанным повествованием о христианской кончине покойного. От чаю и бутербродов с мещерским сыром он не отказался. В окно виден был Аким, который выволок диван на двор и, водворив его в крапиве под старой сливой, охаживал кипятком, весь в крутых клубах пара. Между прочим в своем повествовании о. Николай дважды употребил оборот, который, как мне помнилось по университетским годам, называется «дательный независимый» и на который в грамматике Буслаева приводился пример «ходящу мне в пустыне, показался зверь ужасный», с соболезнованием, что это больше не в употреблении. За это грамматическое возобновление я дал ему красненькую ассигнацию, поняв по

выражению его лица и упоминанию многообразных загробных воздаяний, среди коих были даже неожиданные, что это показалось ему много.

Моим намереньем было как можно быстрее вступить в наследование, с тем чтобы продать все движимое и недвижимое и покинуть этот город, где я доселе не был и надеялся более не оказаться. Но для этой цели надобно было, кроме прочего, ехать в губернский город, о чем я думал с привычным фатализмом русского человека, приступающего к той черте, за которой совершаются интимные отправления закона. Аким решил мои колебания, сказавши: «Надобно бы, барин, в Селитвино съездить». Выяснилось, что в Селитвине, большом селе, лежащем от города верстах в пятнадцати, у отца были торговые дела, которые обычно вел он через некоего Трешилова, состоявшего его приятелем и доверенным лицом, и что по смерти отца какие-то дела остались неулаженными и он, Трешилов, встретивши на той неделе Акима в Селитвине в базарный день, всячески просил, чтобы молодой барин не преминул, заехал к нему, когда окажется,

потому, дескать, что от покойника остались обязательства и чуть ли не долги. Я решил наперед разделаться с мелочами и назначил назавтра, если не будет дождя, ехать в Селитвино.

Утром не было ни облачка. Я вышел из дому и велел подать лошадь. Аким мялся возле меня, словно не решаясь на что-то, пока я не спросил, чего ему.

– Только вот что, барин, – вымолвил он наконец, – она, это… встаёт она.

Я его не понял.

– Покойный барин-то когда на ней ездили, – начал он, – то все больше в одни и те ж места… по обыкновению, значит. Ну, и ждала она их там. И теперь, коли ее мимо водишь, так она что ни раз, то и потрафит. Привычка чего с человеком не делает, – пояснил он. – По привычке живется, а отвыкнешь – помрешь, вот оно как говорится! – прибавил он, чрезвычайно довольный тем, что под то дурацкое положение, о котором меня осведомлял, прибрал прецедент того же разбору.

Поздно было искать другую лошадь; я надеялся, что обойдется. Велев ждать меня к

вечеру, я выехал со двора. Пустив ее шагом, я миновал небогатую вереницу городских улиц и уже проезжал мимо последнего на выезде кабака, украшенного рыжими елками, как вдруг лошадь подо мной споткнулась и стала, понурившись и не отвечая на мои понукания. Из дверей заведения, сопровождаемый затейливыми звуками брани, выкатился малый в красной рубахе, с медного цвета физиономией, на которой застыло выражение, заслуживающее называться заборным. Строго глядя в невидимую точку, он тронулся в пространство, кружащееся перед ним, и по недолгом скитанье уперся носом в мою лошадь, фыркнувшую от знакомого духа. Малый поотпрянул, и шутовская важность показалась в его осоловелых глазах.

– Николай Егорычу наше-с, – сказал он, отвешивая осторожный, впрочем, поклон лошади. – С визитацией пожаловали, милости вашей неотменно просим. Что ни раз, так не мимо нас. Завсегда приятно.

– Митрий! – орала ему баба, высунясь с крыльца, – ты чего там, черт, колыхаешься?

– С Николай Егорычем приятную беседу завел, – наставительно отвечал он,

поворачиваясь к ней всем корпусом. – Когда еще барского-то разговору сподобишься.

– Ну, поклон ему зефирный! – отзывалась баба.

И т.д.

Мало-помалу на его юродства стеклась толпа; я высился над нею, сгорая от стыда и бешенства; кто-то драл гармонику над ухом у моей лошади, которая крупно вздрагивала, не двигаясь, однако же, с места; какой-то мещанин, с барвинком, заложенным за ухо, сновал в толчее между бабами, гласно назначая им свидания «у энтого знаменитого монумента, назавтрее, в сей же час»; веселье было общее. Четверть часа я терпел это, пока наконец лошадь, неуверенно переступив с ноги на ногу, не тронулась помаленьку сквозь расступающуюся перед ней сутолоку. Вслед нам неслись пожеланья доброго пути; кто-то пустил в нее обкусанным пряником. Не буду говорить, что я чувствовал и к этим рожам, и к тому, чьим привычкам я был обязан этим позором. Продать лошадь я решил завтра же и за любые деньги.

Понемногу я успокоился. За заставой я пустил рысью лошадь, шедшую неплохо. По

обеим сторонам тянулись поля, в низине темные ивы указывали на речку. Солнце было уже высоко. По левую руку начиналась разрозненная деревушка и вот уж подступала к дороге. Лошадь запнулась пред воротами, поставленными на серых, расщелившихся сверху донизу столбах. По ржавому гвоздю, торчащему из одного столба, ползала пчела. Теперь я не стал ждать, понуждаемый и свежим опытом, и любопытством: я спрыгнул с лошади и заглянул в ворота, громко спрашивая, не дадут ли напиться. На траве валялось тележное колесо, в котором прыгал цыпленок. Маленькая собака гремела цепью, скача возле дома. Старческий кашель перебил ее лай. Из амбара, осененного яблонью, выходил сутулый старик с плетеной корзиной в дрожащих руках.

– Трезорка! угомону на тя нет! – укорил он собаку, просунув руку сквозь заплесневелое и отгнившее дно корзины и с сомнением глядя на свои узловатые пальцы, которыми он для чего-то шевелил. – Улита! – позвал он, обратясь в дом: – молока утрешнего поди достань с погреба! А вы, барин, –

добрался он теперь до меня, – никак, у нас впервой?

Я назвался.

– Батюшки! это не Николая ли Егорыча сынок?

– Он самый, – отвечал я.

– Вот Бог навел! а ведь ваш-то батюшка…Улита! скоро ли ты?.. Николай-то Егорыч у меня часто бывал, медком разжиться… мед у меня… поговорить любил, обстоятельный был человек… Улита! – снова прокричал он.

Дверь отворилась, и из сеней на свет вышла молодая женщина, в холщовой рубахе и юбке, щуря большие черные глаза. Она была очень хороша собой. Стройная, с высокой грудью, четко обозначенными ключицами, с правильными чертами смуглого лица, она несла на себе отчетливую печать какого-то спокойного бесстыдства, с которым, не переменяя позы, окинула меня взглядом. Мне стало скучно.

– Дочь моя, – сообщил шевелящий пальцами старец, – помогает; вдовая она; ну да перемогаемся, с Божьей помощью! и люди не оставляют! Вишь, Улита, – Николай

Егорыча покойного сынок! помнишь Николай Егорыча-то – он, бывало, любил с тобой разговаривать! какие, глядишь, случаи-то бывают!

– Милости просим дорогих гостей, – лениво вымолвила Улита грудным голосом.

Ветхий отец ее пригласил меня в избу и, пока Улита ходила за молоком, повествовал о своей жизни, жаловался на пчел, которые жалили, как до реформы, а меду давали не в пример меньше, на начальство, которое он плохо различал, на плохой в этом годе липовый цвет, на то, что Бог не дал дочери и ее покойнику Ваньке детей, и звал меня заезжать еще. За окном в перспективе виднелся разнообразно покосившийся забор, за которым открывались длинные гряды ульев, того цвета плотвичной чешуи, какой дает любая краска через пять лет дождя и снега.

В сенях я столкнулся с Улитой, все еще стоявшей с подойником. Она не сделала движения пропустить меня, так что мы расходились вплотную.

– А вы не в Николай Егорыча выдались, – тихо, с расстановкой вымолвила она: – он-

то, не в обиду сказать, неважного сложения был, а вы как есть кирасир.

В полутьме я видел влажное движенье ее глаз, капли пота на высокой шее, слышал ее острый запах. Я сделал над собой усилие и вышел. Солнце ударило в лицо. Краткий срок, проведенный мною в доме, моей лошади, надо полагать, казался достаточным для того, чтобы выказать деятельное отношение к женской привлекательности, поэтому она тронулась в путь без принуждения.

Селитвино было уже недалеко, и я мог надеяться, что прекрасная дочь пасечника была последним из старческих пристрастий, в кои я был насильственно посвящен, как вдруг моя лошадь снова начала замедляться и остановилась. Кругом лежало чистое поле. Я озирался с недоумением, не видя потребных орудий для сколько-нибудь примечательной неблагопристойности.

По левую руку от дороги была обширная промоина, грозившая разъесться в овраг; ржавый щавель и борщевик венчали ее осыпающиеся края; одно старое дерево, половиной мертвое, росло здесь, видно, не столько мешая полевым работам, чтобы его

добрались срубить; остановившись на нем, я вдруг заметил, что широкое дупло, в обрамлении трещин и оплывов старой коры, имеет несомненное сходство с человеческим лицом, чудовищно и карикатурно искаженным: зажмуря глаза, поставленные горкой, как на трагической маске, оно разевало трухлявый рот, резко очерченный шелушащимися морщинами. Обломленный сук, воздетый, точно жест не то мольбы, не то угрозы навеки проклясть и лишить средств к существованию, довершал угрюмую картину. Глядя на эту мертвую и отчего-то постыдную жалобу, залитую солнцем, в тиши сельского полдня, я старался не думать о том, каким склонностям должно было удовлетворять это созерцание, отправляемое с таким постоянством, что лошадь успела с ним свыкнуться. Я сильно ударил ее, и она пошла.

Без дальнейших препятствий мы достигли Селитвина, где я нашел трешиловский дом невдалеке от базарной площади. Хозяина я застиг во дворе, под сенью акации, примостившего на коленах тарелку размокших вишен из наливки, в которой он инспектировал двумя пальцами со служеб-

ным вдохновением (в прошлом он был канцелярский чиновник уездного суда). Заметив меня, он подскочил, вытирая руки о халат, несший на себе, как записки Дюма, обстоятельную роспись местных заедок, и высказал такую суетливость, что в иные моменты, казалось, бегал уже вокруг самого себя. Не успели рассыпанные им вишни скатиться в пыль и упокоиться среди куриного помета, как он уже горячо пожал мне руку, передав ощутительную часть своей липкости, и довел до меня, что я вылитый отец, что годы летят и еще несколько неожиданностей того же рода, которые оправдывали мое путешествие в Селитвино по крайней мере тем этнографическим выводом, что неоспоримые истины имеют чрезвычайное распространение и того гляди, что восторжествуют над всяким заблуждением. Я спросил его о делах, оставшихся от отца, но он с возмущеньем сказал, что до обеда ни слова, ни полслова со мной о делах ни перемолвит и что «тут у них не по новым заведениям, а чтят обычаи-то».

– У меня-то ведь, Андрей Николаич, наперед обеда еще… угощенье у меня! – восклицал он, увлекая меня в приземистую

внутренность своего жилья; мы прошли мимо широкой печи, из которой в полной силе ударило отечественной капустой; тяня за рукав, он ввел меня в горницу, где с торжествующей улыбкой остановился. Думая удивить приезжего, он вполне мог торжествовать: угадать его сюрприза никто бы не сумел. Окна выходили на улицу, где стояла крутая пыль столбом, имевшая служить значительной приправой к нашему обеду; у окна на столе располагался поместительный аквариум с выпуклыми боками, за которыми проплывали по улице противоестественной формы кони и мужики, отливающие несколько бутылочным стеклом. В пространном объеме сновала одна, впрочем довольно увесистая (из тех, что «любят, чтобы их жарили в сметане», как утверждают поваренные книги, склонные приписывать своим ингредиентам вычурные прихоти), золотая рыба, за которой далеко тянулся кисейный хвост, вроде занавеси от комаров, при каждом повороте взметающий со дна клубы тяжелой мути. Несмотря на свое байроническое одиночество, рыба имела такой вид, будто вот сейчас оботрет усы и

скажет: «Хорош-ат чай ваш! куда копорскому! Эк, отцы мои, ажно пот прошиб!» Тут заметил я, что на стекле, у самого верха, выдавлен был государственный герб, то ли предостерегающий рыбу от беспочвенных поползновений, то ли указывающий на то, что эти воды в юридической силе суть исконные российские.

Трешилов наслаждался произведенным впечатлением, посылая в аквариум умильные взоры со слезой, какие адресуют просвещенные купцы канарейкам, словно говоря: мамочка! херувимскую! Рыба, однако, на его взглядыванья отвечала чрезвычайной сухостью, никаким ангажементом себя связывать не желая.

– Как же вы ее тут держите? – невольно спросил я, – у вас, верно, есть какие-то пособия?

– По всем указаниям господина Россмесслера-с! – самодовольно отвечал Трешилов: – первейший ученый; не изволили читать?

Я вынужден был сознаться, что не читал, но полюбопытствовал, откуда такая литература доступна селитвинскому любителю; оказалось, что Трешилов, промысливши

где-то немецкие рекомендации, оказал в их осаде несравненную предприимчивость: именно, узнал у протопопа о. Сергия, что его сын в семинарии обучался тому именно языку, на котором природа обрекла писать г-на Россмесслера, и до того простер свое пристрастие, что заплатил семинаристу, глаголющему языки, синенькую и куль муки за перевод в точном разуме подлинника.

Я спросил, отчего рыба всего одна. Взгляд хозяина затуманился, и он кратко отвечал, что прочие *вымерли*. Я удержался от вопроса, не было ли беглых, но подумал, не была ли прискорбная леность протопопова наследника при грамматических штудиях причиною, отчего все общество золотой рыбы составляет ее хозяин, пагубно заблуждающийся в том, как именно г-н Россмесслер велел редижировать пресноводными, да чудовищные отражения проходящих баб со связками бурых баранок. Тут Трешилов хлопнул в ладоши, приговорив: «А что, пора и обеду!»

Стряпуха подала на стол; мы уселись; я давно был голоден, а г-н Трешилов избавил меня от необходимости идти в трактир. По

окончании обеда я вновь приступил с вопросом о делах, ради которых приехал. Он начал ужимками и обиняками; наконец всплыло, что некогда мой отец, будучи по делам, а более для забавы в Селитвине и проигравши ему в карты некоторую сумму, не отдал ее тотчас, оставив, однако, в залог (жест вроде классического «Qu'il mourût», на котором, как я догадывался, отец настоял сам, по притязанию быть порядочным) некоторую фамильную художественную ценность (Трешилов именно сказал: фамильную художественную ценность). Это было что-то за полгода до его смерти, и во все это время отец за недосугом не рассчитался с Трешиловым, так что ценность доселе пребывала у сего последнего, который присовокуплял, что она соблюдается как зеница ока и что ежели мне изволится видеть, он ее сей же час представит. Я просил его о том, и он, для чего-то пригибаясь, выбежал в соседний покой, откуда интригующий предмет тотчас дал о себе знать глухим гременьем переставляемой тяжести. Я оборотился к дверям, чтобы встретиться с фамильной тайной по возможности скорее.

Это была, в фунебрической раме с тёсаными розанами по углам, заляпанными сусальным золотом, картина, изображающая какую-то «Красавицу с бокалом», того пошиба, какой хорошо известен ценителю русского лубка. Красавица, с нещадно вывернутым локтем и злокачественной лимфой в бокале, расположение которой смеялось над самыми скромными притязаниями физики, изображалась облеченной в какую-то багряницу, с которой краска отставала чешуйками. Фигура ее была выписана сообразно тому ложному представлению о роскоши женских форм, что ограничивает живописца лишь наличным запасом сурика и «Уставом о благочинии», а человека, долго вращавшегося в круге таких галлюцинаций, заставляет с презрением взирать на смиренную действительность, которая не в состоянии предъявить ему ничего среди своих произрастений, чтобы удовлетворить его придирчивости. В довершение эффекта Трешилов задвинул картину отчасти за аквариум, так что вода в нем обагрилась, как при гонителе фараоне, а благоприобретенное имение красавицы выказало уже такие объемы и поползновенья,

что рыба заметалась в чрезвычайном волнении, видимо, вспомнив вольное житье в океанских таинственных глубинах, где, по словам опытных мореплавателей, водится еще много чудес, доселе избегающих отлова, засолки и классификации. Покамест я, как завороженный, глядел на эту фантасмагорию, из Трешилова неостановимо извергались приказные околичности, откуда я уловил, что хотя об их условии не было никаких бумаг, как оно водится между друзьями, я, безусловно, не подвергну сомнению и т.п. (я не подверг); что как наследник я, без сомнения, приму на себя обязательства и т.п.; что, однако же, он оставляет на мое благоусмотрение – забрать ли картину, заплативши сумму, ради которой она здесь оказалась, или оставить ее Трешилову взамен требуемых денег. Тут только, с изумленьем переведя на него глаза, я понял, что он дорожит этой ярославской сатурналией и, чего доброго, считает ее чрезвычайно выгодным приобретеньем, стоящим неизмеримо больше того пустяшного карточного долга, благодаря которому оно ему досталось.

Не беря даже в расчет мелькнувшей передо мною чрезвычайно выразительной картины, как я на своей лошади с произвольными станциями везу этот срам в розанах за пятнадцать верст, внимая сужденью знатоков на каждом перекрестке, куда им заблагорассудится выбрести, – я не хотел никаким образом вступать в тесное сообщество любителей художества, коих это полотно связало связью столь крепкой, что и гробовая дверь ее не перерезала. Чтобы убедиться в своей догадке, я начал, что ежели речь идет о *долге чести*, я, несомненно, принимаю на себя все наследственные обязательства и готов теперь же… Почти ужас, выразившийся на его лице при этих словах, заставил меня свернуть на то, что ежели память дружбы (тут он утвердительно закивал головою) внушает ему, etc., то я, конечно, поступлюсь, etc., etc.; в завершение речи, которой внимал он с умиленьем, заставлявшим ревновать золотую рыбу, я с живейшим выраженьем признательности втер ему в подставленную ладонь красненькую ассигнацию (ей положительно суждено было быть ценой моих родственных связей), и сия

последняя в нее впиталась, растворенная канцелярской секрецией.

Оставались еще некоторые незначительные дела; одни мы с ним решили, другие требовали участия лиц, отсутствовавших в этот день в селе; во всяком случае, это было не к спеху; лошадь отдохнула и была накормлена, и я тоже, насытившись этою гостьбою сполна, готов был ехать. Хозяин звал меня остаться на ужин, однако ж свидетельства радушия, им при этом оказываемые, подтолкнули меня убираться скорее: именно, он ухватил из граненой сахарницы порядочный кусок колотого сахару и, подлетев к аквариуму, булькнул его туда; привычная, как мне показалось, к этой методе дрессировки, рыба брюзгливо следила, как сахар растворяется в ее мутных пажитях, придавая им сладость неизъяснимую, меж тем как Трешилов с приличным выраженьем помешивал в аквариуме мизинцем, чтобы ощущение во все углы разошлось. На мое недоумение (я не удержался) он отвечал с печальною улыбкою и несколько нараспев:

– Жизнь-то ведь у нас, Андрей Николаич, какая была! ведь все своим трудом,

своим хребтом, своим рачением! Уж коли не нам, так хоть им (он обращался к рыбе во множественном числе, присчитывая, видимо, и тех, что имели несчастье украсить своими латинскими названиями его ихтиологический помянник), хоть им пусть будет утешение!

Спрашивать его, заключается ли это в немецких рекомендациях или диктуется отечественным опытом поощрения пресноводных, я не стал, но постарался уехать от Трешилова прежде, нежели он начнет сбывать в аквариум оставшиеся щи. Я устал и был раздражен; в моей поездке было больше усилий, нежели смысла, а от сознания, что не все, пусть мелкие, дела завершены и придется при случае ехать сюда снова, у меня совсем испортилось настроение. Я простился с Трешиловым и содержимым его остроумного жилища и выехал со двора. Базарная площадь уже опустела; две бабы лениво ругались там, но так издалека, что им приходилось все время переспрашивать друг друга. Утомленный этим бестолковым днем, я намерен был попасть домой без промедления. Все те места, куда могла по обычаю заезжать моя

лошадь, закрылись на ночь и насчет греха никаких попущений не предоставляли.

Я ехал в безлюдных полях. Солнце садилось. Вдруг с удивлением я почувствовал, что лошадь снова замедляет рысь против того дерева, которое заставила меня созерцать по дороге в Селитвино. Я приударил ее, но она мотнула пестрой гривой и стала. Я смотрел на тлеющую при дороге руину, в сумерках ничего не потерявшую из своего безобразия. В нетерпении я понукал лошадь, но она словно чего-то ждала, досадливо отмахиваясь от меня ушами. Несколько минут кануло в безмолвии, нарушаемом лишь ее фырканьем, и вот в недрах дерева что-то завозилось, подпрыгнуло, и из сардонически кривящегося рта, которым обращался к нам омертвелый ствол, выскочил какой-то пернатый ком, доселе скрывавшийся в гнилых глубинах, растворил широкие крылья и тяжело поднялся на воздух, устремившись в пустынные поля, откуда его присутствие возвестилось уснувшему пространству высоким, унылым клектом.

Я соскочил с лошади и, задыхаясь от злости и волнения, быстро пошел, спотыкаясь

в темноте на неровной дороге, в ту сторону, где лежал наш дом и где на потемневшем горизонте замерцала уже показавшаяся Венера. Вскоре услышал я позади тяжелый топот. Лошадь меня нагоняла.

Камеристка кисти Клотара

Юлии Шартовой

В ту пору я не был известен и жил в той части города, куда теперь не захожу, чтобы не возмущать ни воспоминаний своих, ни тщеславия. Загнанный бедностью на чердак, где среди скудной обстановки я пытался уместить мольберт, и обреченный бояться квартирной хозяйки, которая являлась с попреками и угрозами или насылала квартального, приходившего, бывало, четырежды на дню, я не видел оснований надеяться на будущее – даже если под надеждою понимать самое смелое пренебрежение насущными условиями – и давно задумался бы о добровольной смерти, если бы влияньем моей матери во времена благословенного детства мне не был привит неискоренимый страх к этому роду преступлений, как слишком бесповоротному. Некогда увлекавшийся речами почтенного моего учителя о самоотверженье, необходимом художнику, я ныне должен был признаться, что ни одного из соблазнов столичной жизни не выдержал, хотя они и не были мне по карману. Идя по

блестящим улицам мимо правительственных зданий, я глядел вокруг себя с таким озлобленьем, что сам себе дивился; не уважая людей, которых толпы кипели на мостах и обтекали памятники, я никогда не мог довольно забыться, чтоб не представлять в своем сердце их обеспеченного существования. Успокоившись, я делал себе внушения, которые оставались бесплодными. Чувство мое огрубело, вращаясь в скудном кругу двух-трех переживаний самых безотрадных, возбуждаемых худшим из надмений, мелочным надмением образованного нищего. Истошный дух жареной рыбы, поднимавшийся из хозяйской квартиры, казался быть единственным приношеньем небу от нашего дома; внезапное чудо оставалось единственным, на что мне можно было надеяться, но я его слишком не заслуживал.

Однажды хозяйка явилась ко мне решительней обычного. Я просил ее обождать с деньгами до понедельника. Она отвечала, что довольно я морочил ей голову и что впредь она заречется и других честных людей остережет иметь дело с такими, как я, а что до денег, то если их завтра к полудню не будет

у нее в руках, вот в этих (она их, поднявши к самому потолку, показала, будто у нее в запасе оставлены были еще другие, в которые я мог бы ошибкою вложить деньги), этих руках, то она, слава Богу, найдет кого просить, чтоб меня с вещами выкинули на улицу и предали окончательному правосудию. Позади нее в дверях показывалось потертое платье ее мужа; распорядительностью супруги лишенный средств посещать публичные увеселения, слишком для нее разорительные, он удовлетворял своей страсти к аналогическим балетам, неукоснительно присутствуя при подобных сценах. Мне казаться начинало, что ее апелляции к окончательному правосудию станут на этот раз для меня губительны, а меж тем я не имел средств, кроме унизительных заискиваний, уже не ласкавших ее привычного слуха. Тут новое лицо явилось между нами. С лестницы послышалось осторожное движенье человека, выбирающего, как шагнуть, и позади вдруг умолкшей хозяйки, пригнувшись у притолоки, встала фигура ливрейного лакея, совершенно оттеснившая в тень ее супруга. Он спросил, может ли видеть живописца

такого-то. В том театральном тоне, из которого, разгорячась, никак не мог выйти, я отвечал ему, что, полагаю, никто более из присутствующих не станет притязать на это имя, с коим ничего, кроме неудобств, не связано. С невозмутимостию он продолжал, что граф *** желал бы меня видеть немедленно, если у меня нет неотложных дел; экипаж, им присланный, стоит у ворот. Признаюсь, в эту минуту я готов был написать его портрет в рост, с хозяйкою в облике раздраженной Мельпомены обок. Я отвечал, что у меня нет спешных дел, чтобы испытывать терпение графа, и мы всем ворохом скатились вниз по лестнице в расплесканном супе, вдоль которой высовывались из дверей растревоженные любопытством головы, иные в лысинах, иные в папильотках.

Графский экипаж в самом деле ждал у ворот. По дороге вспоминал я то немногое, что было мне известно о графе ***. Наследник богатого состояния и имени предков, счастливо воевавших в истекшем столетии под началом Ласси, Миниха и Румянцева, несколько лет назад, путешествуя с молодою

женой, он совершил за границею одну-две поразительные выходки, которые, разгласившись, могли дать повод к политическим применениям. В обстоятельствах, когда наши польские дела и несчастные следствия распространившейся холеры обращали на нас неблагосклонное внимание европейских газет и кабинетов, вызвать досаду занятого правительства значило пренебрегать своей судьбой. Испуганные родственники, которые стояли к правительству слишком близко, чтобы не уважать легчайших перемен на его лице, письменно умоляли графа вернуться, и он проявил достаточно благоразумия, последовав их советам; однако в Венеции, откуда он собирался в обратный путь, неожиданно скончалась его жена – дело, которое, кажется, осталось неразъясненным, после того как он без дальнейших следствий вернулся на родину. Это было в те поры, когда мне был досуг следить за сплетнями, получавшимися из Европы, где на вранье пошлины легче; потом я ничего не слышал о графе – отчасти потому, что вообще немного стал слышать, отчасти потому, что его жизнь и служба не давали поводов к особливому

вниманию. Видеть его никогда мне не доводилось, и оказавшиеся у него причины искать меня сильно меня занимали; но от слуги, меня сопровождавшего, ничего нельзя было добиться – он хранил тайну графских намерений, как добросовестный рассказчик, ни словом не выдающий нежданной развязки.

Граф ожидал в своем кабинете. Не стану описывать ни подъезда, ни внутренних видов его дома, думая, что при наилучших побуждениях не смогу удовлетворить охотников до таких описаний; однако способность жить в покоях, обитых фиолетовым, была для меня удивительной. Граф был мужчиной лет тридцати пяти, очень красивым; наследственное высокомерие смягчалось в нем странным простодушием рассеянности, а беспокойство в движениях обличало человека, серьезно озабоченного. Я ему назвался. Он запер кабинет и отдернул бархатное покрывало с картины, стоявшей в углу, спросив, знакома ли мне она. Я глянул на нее с удивлением. Это была известная Kammermädchen Клотара. Граф, так же пристально глядя на меня, как я на молодую камеристку, стоящую в профиль ко мне, с

серебряною посудиною в обнаженных до середины локтя руках, спросил, знакома ли мне эта работа. «Да, – отвечал я ему с сомнением, – знакома; это, сколько могу понять, копия, мною сделанная, лет семь тому; нескоро привелось свидеться». Тут только я заметил, что ни единой картины не попалось мне на глаза ни в самом кабинете, ни по пути к нему. В иных обстоятельствах это соображение мне бы польстило. «Отчего вы сомневаетесь?» – спросил он, глаз с меня не сводя. «Свою работу узнать нетрудно, – сказал я, обращаясь наконец лицом к нему, – но, кажется, кто-то после меня приложил к ней руку; есть перемены против оригинала». «Что именно изменено?» – подхватил он. «Боюсь, не упущу ли чего… картины Клотаровой я с той поры не видал, как вернулся из-за границы… но художник изобразил ее в чепце: тут, однако, чепец записан… Клотар славен был умением писать белокурые женские головки, коим открытое окно, помещаемое на заднем плане, придавало нечто вроде тонкого, воздушного сияния; Грез добивался узнать его секреты, и сам он смеясь говорил, что нашел бы себя в изображении святых, если бы они вошли в па-

рижскую моду; но в сем случае он не мог не ограничить своей способности наблюдениями приличия – должно быть, какой-то живописец романтический решил сделать ему одолжение, сняв у ней чепец, и, надо сказать, не зря – кудри ее выписаны отменно, точно сам старый мастер воскрес ради этой проказы… Да, еще, я вижу, полотенце – через левую руку висело у нее перекинутое полотенце, без которого она уж конечно не принесла бы лохани с водою… Характер ее видимо переменился – она пренебрегает должностию», – заключил я смеясь.

Но граф ничем не отвечал моей шутке, так что я пожалел, не поторопился ли, решив, что проникнул в его нрав. «Я долго вас искал, – вымолвил он наконец, глядя на меня с выражением, описать которое я не могу, и едва не трогая меня за руку, – да: мне это много стоило… Когда выяснилось, что вы русский, что мы который уж год как живем в одном городе… Не странно ли? по одной этой работе видно, что у вас должны быть способности, – отчего же вас не знают?» Я развел руками.

«Вот что, – сказал он новым тоном, тряхнув головою, – я намерен заказать вам работу – для начала неблагодарную, но не терпящую отлагательства. Готовы ли вы восстановить те утраты, что вами замечены? можете ли вы сделать это по памяти, не видя Клотарова оригинала? У меня есть с него недурная гравюра, она несколько вам поможет».

Я отвечал, что готов попробовать с большими надеждами на успех.

«Сколько времени на это уйдет?»

Я вымолвил, что если его сиятельству надобна срочность, я предложил бы взять картину к себе, однако мои условия – темнота моей комнаты – опасение за картину… «Работать вы будете здесь, – сказал он, – нынче уж поздно: завтра около двенадцати я пришлю за вами; вот вам задаток; теперь я ваш постоянный заказчик». С кружащейся головою и горящим лицом вышел я на ночной воздух. Лакей, с тонкою насмешливостию поглядывавший на мое смущение, отнесенное им на счет княжеского великолепия, проводил меня до нанятого извозчика.

Возвращение мое на квартиру было самое торжественное. Слава человека, за которым посылают высокие вельможи, мгновенно заполнила самые дальние уголки наемных квартир. Хозяйка не смела предо мною показываться; я сам явился к ней и отдал деньги в те трагические руки, что давеча воздымались в моей комнате. Съезжать от нее, впрочем, я пока не думал, недоверчивый к переменам своего счастия. Два-три раза забегала от нее испуганная прислуга узнать, не надобно ли чего; я давал мелкие поручения для удовольствия распоряжаться. Оставшись один, я пытался, ходя взад и вперед по своей тесноте, рассудить, что со мной приключилось, и наконец вынужден был честно признать, что с того мгновенья, как графский лакей явился на моем пороге, все было для меня кромешной загадкою. Деньги одни остались залогом того, что я не во сне это видел. Следовало ими воспользоваться. На задаток, полученный за Клотаровы чепец и полотенце, я купил свежих кистей и красок, обновил свой износившийся гардероб и расплатился по прежним счетам с трактирщиком, восстановив у него свой

кредит купно с беседами, коих содержание почерпалось из «Северной пчелы». Я шел от него, обремененный судками с горячим супом и доверительными сведениями, кто ныне помогает египтянам противу турок, как у ворот моего дома встретил меня графский экипаж: время подошло.

Через длинную анфиладу меня проводили в комнату, хорошо освещенную и почти пустую, украшенную лишь бюстом Каракаллы, посреди которой поставлена была моя картина; я взялся за работу, которая подвигалась, на мое удивление, очень хорошо: рука точно все помнила, выписывая белоснежные кружева, которые я с сожалением надел на милую головку. Странным мне показалось, что никаких следов, противу ожидания, не находил я чужих лессировок: написанного мною чепца словно отродясь не бывало. Граф вошел, не замечаемый мною, когда я, отложив кисть, насвистывал какую-то арию, с удовлетворением глядя на свою старую знакомую, которую насильно возвратил к былой опрятности.

«Да у вас уж все готово», – сказал он; я обернулся: он прошел вдоль холста, глядя на

него с веселостью. «Отлично! вы достойны всяческих похвал. Разочтемся. На мой взгляд, за мною остается…» Он назвал сумму, за которую Клотар в лучшую пору своей славы не торгуясь отдал бы оригинал. У меня не стало духу сказать графу, что таких денег не заслуживает самое жаркое усердие копииста; мое лицо, впрочем, обличало для него все. «Это отчасти аванс, – сказал он. – Я хотел бы, чтобы вы без промедления переменили жилье. Если помните, я обещал быть вашим заказчиком; есть и другие люди, для которых мой вкус кое-что значит; но для них рекомендацией служит также и ваша лестница. Надеюсь, вы тотчас сообщите мне свой новый адрес».

Я только мог вымолвить, что сообщу непременно. Граф довольно понимал мои чувства, чтоб ждать красноречивых благодарностей. Он позвонил и распорядился меня проводить; я выходил уже из комнаты, как он с неожиданной силою выражения, напомнившей мне о вчерашнем, сказал:

«Хотел бы я, чтоб вы ни на миг не отлучались из города. Но вы, к несчастию, человек свободный».

Я отвечал с улыбкою, что, грешен, иной раз малодушно мечтал об обеспеченной неволе, сидя у себя на чердаке, продуваемом всеми дуновениями, с горькими мыслями и пустым желудком. На этом мы расстались.

Назавтра я приискал себе квартиру на Галерной и простился с присмиревшею хозяйкою без сожаления; возможно, мне следовало бы испытывать странную привязанность к своей длительной тюрьме, когда я перешагивал через ее порог, но нужда и безнадежность избавили меня от изысканности чувствований. Ничего, кроме радости, я не испытывал, когда мой скудный скарб вольно размещался на новом месте; я выпил кофе и последними каплями совершил признательное возлияние Фортуне, одновременно спрашивая себя, не с ума ли я схожу. Я купил несколько гипсовых бюстов и нанял слугу, который начал с того, что хватил одним из них об пол; поскольку это был, кажется, Периандр, я утешил малого тем, что он того заслужил, но с остальными настрого заказал обходиться внимательней. По моему поручению он сбегал к графу сообщить мой адрес и доставил от него записку с

пожеланием удачи. День-два прошли в обустройстве – лишь к ночи удавалось мне добраться до задуманного в чердачную романтическую пору большого холста, и, усталый от суеты, я имел мало успеха – а потом к нам пожаловал первый заказчик. Он вошел отдуваясь с лестницы ко мне в мастерскую и сказал, что он действительный статский советник такой-то, директор департамента в том-то министерстве; что граф ***, чей разборчивый вкус известен, весьма похваляет мои способности и что он вследствие этого etc., etc. Я принял его с возможным угождением. Он хотел большой работы, для которой мне следовало посетить его дом. Явившись к нему, я застал жену его и дочь; супруг извинялся внезапными обязанностями в австрийском посольстве и препоручал жене изложить их пожелания. Оказалось, что муж хотел заказать портрет их обеих, в идиллическом окружении, на лоне их дачных угодий; сколько можно было уловить из ее полунамеков, это намерение было призвано скрепить семейный мир после какой-то бывшей тяжелой ссоры; ей он доверил обсудить со мною детали, а также

сообщить, что, если я возьмусь за эту работу, мне предложат провести с ними несколько дней в усадьбе, призванной дать портрету воздух, свет и трепет листьев. Услышав мое согласие, супруга пригласила меня, «в знак единодушия», по ее выражению, выпить с ними чаю. Она, лет на двадцать моложе супруга, была удивительно хороша, с выражением безмятежной насмешливости; дочь ее, лет четырнадцати, с блестящими черными кудрями и замечательными итальянскими глазами, улучала мгновенье со мной кокетничать. Когда пришла пора откланяться, я возвращался домой в приятной уверенности, что первый выход в свет не покрыл меня бесславием.

На третий день явившись к ним по уговору, я ввечеру уже был доставлен в их загородный дом. Август был в исходе; мне отвели комнату окнами в сад, хранившую остатки чьей-то библиотеки; муж то наезжал, то отъезжал в столицу; супруга занимала меня разговорами о живописи и литературе, оставляя меня свободным, когда мне того хотелось. В первый же вечер горничная под рукою передала мне записку от дочки;

писанная по-французски, она содержала признания в страшной любви; в ожидании ответа к записке прилагались разрозненные томы татищевского лексикона. Я хотел было взбеситься, но рассмеялся, сел и духом написал ей на итальянском суровую отповедь, говорящую о разности наших положений, о том, что честь и спокойствие ее семейства вынуждают меня отказаться от видов на наше счастие; к ответу я присовокупил растрепанный том Петрарки, сыскавшийся в моей комнате, и переправил с тою же горничною, надеясь, что опыт обучил ее невозмутимости. Поутру я писал хозяйку верхом на ее англизированной кобыле и дочь, глядящую на нее с высокого крыльца; по всей сцене и темным деревьям, склонявшимся над ними еще обильною листвою, разлито было умиротворенье, как того желал заказчик. Время текло легко, при ясной погоде и на приволье. За обычным разговором del piú e del meno супруг начал как-то жаловаться на демократическое презрение к живописным аллегориям: искусство, уверял он, много потеряло, отказавшись от их многозначительного великолепия; под веселым

взором его жены я соглашался с ним, хваля аллегории за возможность видеть в них каждый раз новизну замышления, в чем, впрочем, хозяин со мной не соглашался, находя в этом нечто предосудительное. «Lei ha tradito la fede romantica», – сказала хозяйка смеясь, когда муж ее удалился. «Per la serenità del Suo coniuge sono pronto a sacrificare di piú», – отвечал я ей. Несколько дней провел я в таком тоне, который казался мне приятнейшим на земле, не переставая однако же заниматься работой; когда она продвинулась настолько, что могла быть довершена в мастерской, я объявил о намерении уехать, дабы посвятить себя тщательной отделке. Меня удерживали не слишком, и вскоре я был уже дома, занятый мыслями о косвенном свете и выражении лиц.

Мой малый известил меня, что присылали от графа ***, еще третьего дня, а давеча снова, с особливою просьбою, чтоб тотчас сообщить, как я появлюсь. Удивленный, я отправил его с извозчиком; он воротился на запятках графской кареты. Меня просили ехать, захватив все потребное для моей работы.

Граф встречал меня, выйдя к широкой своей лестнице. Он был бледен и едва отвечал моим приветствиям. Быстрым шагом ввел он меня в комнату с бронзовым Каракаллою и велел слугам внести света. Я стоял ошеломленный.

В раме передо мною, освещенная двумя шандалами, была моя камеристка: двух недель не прошло, что я поправлял ее, думая, что виделся с нею впоследнее: что сделалось с нею! Сардоническая кисть прошлась по ней, насмеявшись и над моим ученическим прилежанием, и над благочестием старого мастера. Темный бархатный лиф, вместе с косынкой, укрывавшей ее грудь, был кем-то снят с нее; она осталась в рубашке, отороченной кружевами, которая волнистой линией сползала с ее левого плеча; нижняя юбка освещалась утренним солнцем из окна; роговой гребень из головы ее выпал и валялся у ног на полу, отпустив ее чудные локоны, кои рассыпались и «вияся бежали струей золотой», как говорит Жуковский, по белой шее и обнаженным ее плечам. Прежняя поза, все еще ею хранимая, добросовестной служанки, ожидающей с водою в руках, как

понадобятся хозяйке ее услуги, с потупленными прекрасными ресницами и свежим, простодушным румянцем во всю щеку, – это выглядело теперь какой-то мефистофельской насмешкой. Вдруг и странная переделка, и мое детское смущение показались мне комичными; счастье мое, что я не успел этого выразить, оглянувшись на графа: он ничего забавного в том не находил. Его выражение было судорожное. Наконец он резко вымолвил: «Начинайте, прошу вас, немедля» – и вышел. Я взялся за работу.

Минут десять я с осторожностию осматривал преображение горничной, а потом принялся смешивать краски. Тут чьи-то шаги отвлекли меня; я обернулся: два медленных лакея внесли железную кровать, на которой кто-то из предков графа проводил чуткие ночи в походах.

«Что это?» – спросил я. «Его сиятельство велели вас тут положить», – отвечал один из них, с седыми бакенбардами. Я не стал возмущаться распоряженьями графа на счет моей свободы, махнув рукою на щепетильность: из всех странностей, которые мне встречались в этом доме, сия была еще

безобиднейшею, а я слишком был обязан графу, чтобы осуждать его действия. В самом деле, уже смеркалось, и работать было нельзя, да я и устал; мне подали ужин в комнату, по окончании которого я выслал всех слуг, нехотя предлагавших помочь мне раздеться, и завалился в кровать, благословляя судьбу, избавившую меня от военной славы, если с нею непреложно связано спанье на железе. Спал я, впрочем, дурно, несмотря на усталость, и думаю, что присутствие картины меня смущало: не раз приподымался я, глядя, как смутно белеется круглое ее плечо, и помню, что в полусне хотелось мне измерить, не является ли оно срединной точкой Клотарова холста, что так притягивает к себе взоры. Поднялся я рано и, посмотрев на серенькое утро, от которого медный сын Септимиев, со своей подставки глядевший, как и я, во двор, где брела бурая лошадь, а из-под копыт у ней отпрыгивала галка, казался еще неприветливее, принялся поскорее за работу. Странное чувство испытывал я, будто мне довелось одевать живую женщину; это было совсем не то, что рабски списывать с Клотарова оригинала. Дело шло медленно,

прерываемое сначала завтраком, а потом беспрестанными заглядываньями слуг, спрашивавших по графскому наказу, не надобно ли мне чего, покамест, потеряв от них терпение, я велел не соваться до вызова, рассудив, что имею все основания не церемониться с графской дворней, если ночую в его фамильной постеле и надзираю за его камеристками. Темную юбку, из-под которой чуть выставлялся башмак, я надел на нее, поминутно останавливаясь и сверяясь с гравюрой, а потом решил собрать ей волосы под гребень. Нужно ли говорить, что, как и в прежнем случае, ни находил я, как ни вглядывался, никакого следа чужой кисти поверх моей, словно это была новая картина, хотя в неповрежденных местах явственно узнавался мой пошиб? Я устал думать об этом и лишь водил кистию. Если граф пожелает объясниться, его воля. Роскошные кудри ее, славу Клотаровой кисти, я с величайшим тщанием уложил, как прежде, и скрепил их гребнем, от всей души надеясь, что наперед они не высвободятся, а потом решил написать дощатый пол поверх того гребня, что остался валяться у нее под ножкой. Как изобразить

мое изумление? Гребня там не было. Я стоял остолбенелый, не веря своим глазам, помня лишь, что, когда я взялся поправлять ей волосы, гребень был на полу, выписанный со старомодною тщательностию и положенным на него светом совершенно во вкусе Клотара – но мог ли я доверять своей памяти, художническим призванием обязанный слушаться своих глаз? Когда я поймал себя на желании глянуть себе под ноги, то плюнул в сердцах и принялся за ее лиф.

Весь день не тревоживший меня, граф появился к вечеру. Настроение его видимо было иное. У него словно отлегло на душе; он шутил и рассказывал мне светские происшествия, не заботясь, что лица, в них участвовавшие, все были мне неизвестны. Я держался с осторожностию, внушенной мне диковинами его дома. «К Клотару у нас семейственное влечение, – сказал он между прочим: – он писал дядю моего в его детстве, а потом отдал портрет его родителям, отказавшись брать деньги. (Я вспомнил эту работу, одно из лучших произведений Клотара и самое трогательное.) Дядя относился к нему без церемоний, звал просто

Домиником, а старик рад был с ним дурачиться и кормил его конфетами. Услышав в каком-то разговоре, по случайности, что Доминик изобрел инквизицию, дядя прибежал к нему в слезах и с укоризнами, для чего тот изобрел инквизицию, и бедный Клотар, отложа все занятия, принужден был битый час успокаивать расстроенного ребенка убежденьями, что это не он ее изобрел – истощил все доводы, привел наконец соседей, и те клятвенно заверили дядю, что это не он; насилу успокоили. А отчего вы взялись за него?»

Я отвечал, что мой учитель, которым я слишком был захвачен, чтоб не воспринять его вкусов, питал к Клотару давнее пристрастие, казавшееся, конечно, устарелым для нас, бурных школьников, с ума сходивших от Корреджия и Сальватора Розы; когда мы с ним оказались за границей, он настоял, чтоб я занялся этим полотном, сулящим мне постижение таинств славной кисти, и в награду за мое согласие – должен признаться, неохотное – рассказывал, как они были знакомы с Клотаром, лет пятьдесят

тому, в те последние времена его старости, когда, устав от столичной жизни, печальной и для его кроткой серьезности, и для его увядшей славы, он перебрался доживать в Лион. Мой учитель, еще молодой человек, состоял тогда наставником в одном русском семействе, отправившем сына своего в Grand Tour. В Лионе они задержались, и учитель мой, узнав, что *великий Клотар* живет в соседней улице, явился к нему с визитом. Великий Клотар принял его запросто. Он жил в идиллической компании рыжего кота, с которым совещался по всем важным вопросам домостроения; кухарка, валявшая ему сполагоря еду, к коей он был равнодушен, питала к нему благоговение, не мешавшее ее плутовству. Дома у него висела одна его небольшая картина, *Книга, забытая в беседке*, которую он любил более всего из своих; не последней причиной его отъезда из столицы, как уверяли, была обида, что за сие полотно не предлагали ему довольно, чтобы отказ продать его славился как героический. Несколько лет минуло, как он не брался за кисть; в Лионе отстроили присутствие, и городской совет решил просить знаменитого сограж-

данина украсить здание приличными росписями. В этом заседании, непривычно кипучем, прославилась фраза городского казначея, искусного расточителя и горячего поклонника Саллюстия: «Самая его неудача, – величественно сказал он сомневавшимся, – станет нашей славою». Все согласились призвать старика к работе. Славолюбие было удивительною его слабостию; неукоснительно являлся он на столичные приемы, когда был везде принят, и выстаивал их, как торжественную мессу, с религиозным одушевлением; кроткий ум его бывал способен к неожиданной остроте, и его беседа не оказывалась незанимательною. Он принял предложение; кот ему то же советовал. Учитель мой видался с художником в те минуты, когда, устав от скучной работы во дворце правосудия, он выходил греться на солнышке. С удивленьем спрашивал он Клотара, как отважился тот расписывать казенные стены *правосудием Людовика Святого* и пышными иносказаньями; как еще прежде, в столичные времена, брался он за медальоны и плафоны, грозившие ему не так ревностию собратьев, как пренебрежением

знатоков? Вздохнув, старый художник отвечал ему стихом из Расина: «Je croyais sans péril pouvoir être sincère».

Граф расхохотался. «Не удивительно, что за стенами Лиона не слыхали об этой работе, – заметил он. – Искренность хороша на исповеди, а les secrets du confessionnal на холсте неуместны – странно, что заблужденье это столь влиятельно».

Заметив, что вечер уже склонился, он предложил мне завершить работу завтра, прося смириться еще на одну ночь с его принудительным гостеприимством.

На сей раз я выспался на славу и поднялся со спокойной душой. Дела оставалось немного, и я ленился – рассматривал эстампы, валявшиеся на столе, гляделся в зеркало, думая, не взяться ли за свой портрет, и на правах отеческого попечения беседовал с безответной камеристкой, делая ей внушения самые решительные. Граф застал меня, когда я корпел над косынкою на ее шее, и приветствовал мое похвальное занятие фразой «Couvrez ce sein que je ne saurais voir», продекламированной с комическим негодованьем. «Впрочем, не должно винить

бедную девушку в распущенности, – сказал он, – оставим эту забаву ее хозяевам: не находите ли вы, что ее характер читается по ней, как по книге? Клотар много дал аббату Пернетти, почерпавшему свои выводы о *познании нравственного человека* из наблюдений над его меланхолическими картинами вроде *Девушки перед мраморным фавном*. Говорят, они были в дружбе; кажется мне, они невольно обманывали друг друга: один – извлекая из произведений художника свою благонамеренную систему, другой – думая в ней найти философскую опору своим вкусам. Давно ли это было? Разбойник, зарезавший Лафатера, уничтожил не физиогномику, без него упавшую до салонных пошлостей, но самое искусство портрета: невозможно более ему доверяться».

Я спросил, вызвано ли это мнение собственным опытом. «Нет, – отвечал он, – я никогда не думал заказывать свой портрет и закажу разве лишь вам; но если бы я собрался, я подумал бы не о портрете в обычном духе, но скорее о полотне в пару этой камеристке. Представьте себе нечто в роде Гогартова *Тщеславия*: молодой человек, не успевший

переодеться по возвращении с бала или званого вечера, сидит вытянув ноги; кругом него разнообразные безделушки, пестрящие стену или валяющиеся на полу; левая его рука лежит на рукояти кресла, правая подпирает подбородок, а приподнятое лицо глядит с насмешливой внимательностью на кого-то за пределами изображенья…»

Тут он остановился. По недолгом молчании я обратился к нему – замечая, что расположение его переменилось, – с вопросом, когда довелось ему купить мою бедную копию, с которой, давно ее продав, думал я, что распрощался. «В Венеции, – отвечал он, – у одного известного торговца древностями (граф назвал имя: я знавал этого человека), когда копался в его подвалах, с их застоявшейся сыростью от канала Gracio. Это было на другой день, как умерла моя жена». Я смутился и не знал, как отвечать. «Говорят, что я виноват в ее смерти, – вдруг прибавил он с нечаянной прямотой, – вы слышали, должно быть». Я пожал плечами, говоря, что невнимателен к молве. После этого было уж не воскресить разговора; граф сказал что-то незначительное и скоро вышел. Я перевел

дух. Работа шла к концу. Явился графский управитель, сухощавый старик с неприязненным лицом, и торжественно сказал мне, что граф прислал его с расчетом – сумма, не показавшаяся мне в другой раз слишком огромною. Меня с почтеньем проводили до порога, а дома ждал меня бедный мой слуга, насмерть перепуганный трехдневным моим отсутствием и встретивший меня как восставшего из мертвых. Я увещевал его привыкать к подобным вещам, ибо с живописцами они случаются сплошь да рядом.

Подозревая, что за выходкой откровенности должно последовать охлаждение, я рад был это проверить, когда на другой день заметил, что позабыл в графском доме все кисти. У его ворот мне отвечали, что их сиятельство нынче больны и не принимают; швейцар вынес мне ворох кистей завернутым в газетную хронику. Я вышел на набережную. «Ты его сиятельству не свой брат, – сказал я себе. – Ваша близость, порожденная его причудой, не могла не казаться ему вынужденной; подобие власти, приобретенное тобою над ним, делало вашу фамильярность для него нестерпимою. Не думай, что ради

тебя он примется воевать с сословным предрассуждением: довольствуйся его благодеяньями и не жди новых».

Я отнесся к этому тем спокойней, что самолюбие мое было чувствительно затронуто необходимостию в начале карьеры, которая мечталась мне блистательною, раз за разом доделывать ученическую работу, давно позабытую, – эта ироническая проделка случая начинала мне приедаться. Совсем утешило меня появление действительного статского советника со всей семьей и болонкой. Я с гордостью выставил перед ними завершенную работу. Мать с дочерью были в восторге, омрачаемом лишь, сколько я мог уловить, небольшою ревностью каждой из них к той красоте, с какою изображена была другая – чувство, впрочем, мимолетное и не омрачившее их похвал. Болонка одна облаяла мой труд, но на нее нечего было оглядываться. Действительный статский советник, погруженный в важное рассмотрение, с просветлевшим челом разделил наконец удовольствие семьи и лишь сделал мне небольшую просьбу, нельзя ли довершить это мастерское изображение помещенною

где-либо не на самом виду, но явственною эмблемою посрамленного недоброжелательства. На это желание я отвечал с совершенною серьезностью, что таковою эмблемою служит обыкновенно сова, приколоченная гвоздями к воротам, и вызвался тотчас прибавить ворота и прибить к ним сову, чтобы ни у кого не оставалось сомнения, что в семье г-на NN справляют нешуточный триумф над недоброжелательством; он торопливо отказался, а я награжден был смеющимся взглядом прекрасных глаз его супруги.

Разговоры обо мне, начатые в этом семействе, скоро распространились; мне сделано было несколько почетных посещений и выгодных заказов; я чувствовал, что вхожу в силу, – юношеская беспечность меня захватила. Я постигал науку спать до полудня, объедаться на дипломатических обедах и острить на счет Рафаэля. Недели проходили в рассеянье. К неотложной работе я возвращался с неохотою, восхищенный новой жизнью. Случай заставил меня отрезвиться. Одним моим посетителем был статский советник (мне пошла череда на статских советников), желавший заказать свой портрет,

в таком виде, как вам будет угодно, отвечал он на вопрос о его пожеланиях: *я совершенно доверяюсь вашему вкусу*. Тут впервые стало мне стыдно моей ветрености – я принялся прилежно обсуждать с посетителем подробности будущего портрета, глядя на его сухощавое лицо и с наслаждением слушая его осторожные, внимательные суждения. Осуждая ревнивое попеченье иметь свой портрет, сию всеместную черту светского обыкновения, он с усмешкою сравнил свой взгляд на вещи с высокомерием испанских грандов, немало благоприятствовавшим развитию у художников ужасного беспристрастия – искусства *нелицеприятного*, как он выразился. Сославшись на какую-то книгу, с которой я не был знаком, он предложил мне пользоваться его библиотекой.

Назавтра я был у него дома – зарылся в его богатой библиотеке и от усталости незаметно задремал там, среди рассыпанных книг, вовсе не думав непочтительностию украсить карьеру модного портретиста; хозяин, впрочем, отнесся к этому равнодушно, дав распоряжения слугам о моем ночлеге. Оставив его поутру, я, чтобы освежиться,

прохаживался на Щукином дворе и собирался было зайти в книжную лавку, как вдруг воздух огласили заунывные трели, первобытной дикостью напоминающие об Оссиане, и зазвучали призывы поглядеть и послушать. Вняв им, я оглянулся и увидел картину, всем известную, – шарманщика, притоптывавшего разбитым сапогом и ведшего остроумный диалог с танцующею собакой, покамест его машина гудела и свистала на все лады, а гарусный шарф, намотанный на тощую его шею, плескался по ветру, как боевой стяг на бастионе. Давно я не испытывал удовольствий такого рода. Подошед ближе, я попался ему на глаза – поскольку желающих упиться его искусством было мало – и часть остроумия, доселе падавшего безраздельно на долю его верной собаки, доставалась теперь мне. Я не удержался и стал ему отвечать. Чрез несколько минут мы почувствовали себя товарищами, и я пригласил его выпить. Какое-то самодовольство ремесла обличалось в его ухватках и ко всему прибавляемом замечании, что *прошли те времена*, как на базарах показывал он тюленя из ящика: теперь его дела не чета прежним! Он

сказывал мне чудовищные сплетни высшего света, сообщавшиеся в лакейских всего города; среди прочего я узнал самого себя в чародее с Васильевского острова, который загоняет на место адову пасть, вылезающую на графа *** из картины Страшного суда. Во хмелю он хвастался и тиранил собаку, заставляя ее вальсировать без остановки, пока она не падала в изнеможении на загаженный пол.

Я пристал к нему – и бродил с ним по городу несколько дней, делая с него наброски, оживившие мою старую мечту написать Саула, запрещающего воинам есть до вечера. Я представлял себе на самом краю полотна, в безопасном удалении от распаленного битвой гневного царя, повернутое alla ribalta с каким-то сказочным плутовством лицо старого воина, который все проклятия и обеты, для чего-то запрещающие ему есть, уж конечно сочтет ребяческой игрушкой. С первой нашей остановки я послал трактирного слугу к себе на квартиру с наказом моему слуге быть почтительну, принимать от посетителей карточки и говорить им, что барин нынче для важных

дел в отсутствии, но по возвращении немедля их известит.

Странствие наше было бурное. Не стану исчислять проказ наших, ни живописать нашего промысла. Через несколько дней, провождаемый целою стаей разительных друзей моего шарманщика, довольных к изображению всех подвигов Св. Антония, я, опомнившись, потихоньку бросил их, уснувших вповалку на очередном постое в каком-то переулке близ Сенной, с видом на известное здание холерной больницы, и в вечерних сумерках под начинающимся дождем добрался до дома. Слуга дал отменный отчет во всех визитах; оставленный впервые на дипломатической должности, он, как оказалось, нахватавшись слов у гостинодворских приказчиков, отвечал всем, что барин-де нынче в экзальтации, но как воротится, тотчас даст о себе знать. Тронутый сим скромным приношеньем моей славе, я подарил ему рубль и спросил оставленные карточки. Разбирая их, среди прочих заметил я графа ***. Слуга сказал, что от него присылали два дня кряду с вопросом, когда воротится хозяин, а вчера граф приезжал

справиться сам, нет ли способа меня сыскать. Это меня изумило. На карточке его была приписана просьба быть к нему непременно, тотчас как возвращусь. Я, делать нечего, переменил платье и собрался ехать. Дорогою я бесплодно гадал о причинах таковой настоятельности. Сгибаясь под припустившим дождем, я выскочил из экипажа и тут же натолкнулся на графа, ждавшего у подъезда. Лицо его, освещенное зеленым огнем фонаря, имело выражение фантастическое. Он схватил меня за рукав и повлек за собою; промелькнул тяжело приподнявшийся со стула швейцар; мы миновали чреду пышных комнат и оказались в той, где доводилось мне ночевать. Тут граф бросил мою руку и опустился в кресло.

В той же раме, что и прежде, камеристка снова была передо мной – и что же? – я видел ее совершенно обнаженною, оставшеюся без единого, самого легкого покрова на теле, без той условной дымки, что призвана не укрывать, но увлекать беспокойное воображение. С тяжелым изумленьем следил я соблазнительные изгибы ее нагих очертаний, замечая, как грудь ее, живот и колена,

тронутые солнцем, светятся перламутровым сияньем во вкусе нескромного Буше. Самое лицо ее точно переменилось: ее скромность теперь дышала затаенным коварством. Не самая нагота производила ужасное впечатленье – изучение живописи европейской давно отучило меня от грубого жеманства, – но эта женщина, остановившаяся в бесстыдной прямоте с водою в протянутых руках, еще оставалась прежнею – еще узнавалась в неразрушенных местах прелестная простота, свежесть краски и верность рисовки старого Клотара.

Совладав с собою, я пробормотал, что могу взяться за нее немедленно, однако мне надобно послать за всем нужным, поскольку я не предполагал…

«Нет, – отвечал граф, закрывший рукою лицо; во всей позе его и голосе слышалось совершенное изнеможение, – нет, теперь не нужно; ей удалось… теперь ее воля… Оставьте; не надобно».

Я начал извиняться за промедленье…

«Нужды нет, – сказал он, – для чего мне пенять на вас; вам я обязан двумя месяцами жизни; но вы, конечно, вправе располагать

собою, как почитаете должным… Мне кажется, я нездоров, – прибавил он с некоторым уже спокойствием. – Уж без четверти одиннадцать: винюсь, что зря нынче обеспокоил вас; но ежели бы вы нашли время заехать ко мне завтра поутру – это не займет вас надолго, – я был бы вам признателен».

Вышед из комнаты, я слышал, как он запирается за мною. Грешен – я покидал его с неизъяснимым облегченьем на душе, не понимая причины его страдания, в котором сомневаться невозможно было, но лишь радуясь уйти из этого нестерпимого дома. Не замечая дождя, я шел вдоль набережной, с волненьем в мыслях и чувствах, покамест какой-то извозчик не напомнил мне, что погода не майская; тут я опомнился и запрыгнул в его кибитку.

Утром я был у графа. Бог надоумил меня не подъезжать прямо к дому; от угла я шел пешком, издалека завидев непривычную толпу у графской ограды, за коей виделись растрепанные лица графской челяди и запахнутые шинели *начал и властей*. Ветер поднимался. Протиснувшись в толпе, я начал спрашивать налево и направо, отчего

собрались; словоохотливый, но бестолковый парень отвечал мне, что у графа *** *нынче дело*. С нетерпеньем добивался я, что это значит. «С вечера, сказывают, заперся, – отвечали мне: – утром не достучались и давай дверь ломать». По разбитии дверей оказалось, что графа нет в запертой комнате. «Вот ты, к примеру, умеешь ходить затворенными дверьми?» Я отвечал, что не умею. – Поднялся шум; явился квартальный, за ним два жандармских офицера; графа искали тщетно; пало подозрение на кое-кого из дворни, но противу их доводов не было. Таинственное несчастие придавило дом. Толки в толпе стояли самые разные; затесавшийся гаер начал немилосердно высвистывать на флейте ланнеровский вальс; с трудом выдрался я наружу, оглядываясь, уехал ли извозчик, привезший меня.

О графе все не получалось известий. Общество было сильно занято его исчезновением; разговоры о нем ослабели лишь пред обручением герцога Лейхтенбергского. Я работал и жил спокойно. Недели через три графский управитель, некогда

расплачивавшийся со мною, неожиданно явился ко мне на Галерную. Внешность его заметно изменилась; он одряхлел. Он известил меня, что графом – по всему судя, накануне того, как он исчез, – написано было распоряженье передать в собственность живописцу NN одну картину, находящуюся в его доме. В скорбных суетах последнего времени старик промедлил с этою волей, видимо малозначащей, и наконец, взявши указанную картину, привез ее мне на извозчике. Это полотно, сколько можно судить, было славного живописца прошлого столетия Клотара или кого-либо из его учеников. На нем изображалась покинутая комната с окном, через которое взошедшее солнце освещало внутренность богатого дома; на низкой скамье у стены поставлена была полная лохань с водою и подле нее небрежно брошено полотенце. Его край попал в лохань и намокает.

ОБ АВТОРЕ

Роман Шмараков (р. 1971, Тула) – доктор филологических наук, преподаватель, переводчик, создатель первого полного перевода на русский язык произведений античного поэта Клавдиана. В 2009 г. в издательстве «Водолей» в переводе и с комментариями Р. Шмаракова вышла книга избранных стихотворений выдающегося латинского поэта VI-VII вв. Венанция Фортуната.

Под буковым кровом

Содержание

Книги издательства Salamandra P.V.V.

Джозайя Флинт. Хобо в России. 108 с., илл.

Воспоминания американского писателя-бродяги Джозайи Флинта о путешествиях в Россию, Льве Толстом и жизни в Ясной Поляне, странствиях с русскими бродягами, столичной полиции и генерале Куропаткине. Первый перевод на русский язык.

А. Я. Гуревич. Москва в начале XX века: Заметки современника. 212 с., илл.

Написанные на склоне лет воспоминания А. Я. Гуревича, участника советской космической программы, живо рисуют облик навсегда ушедшей Москвы. Память автора сохранила драгоценные детали и приметы быта Москвы начала XX века.

Борис Херсонский. Новый Естествослов. 154 с., илл.

Новая книга известного поэта, автора более десяти поэтических сборников, содержит вариации на тему Естествослова-Бестиария и представляет собою поэтические переложения средневековых текстов.

Райские цветы, помещенные в седми цветниках. 80 с. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. I).

Первая книга новой серии «Gemma Magica. Материалы и исследования по истории магии и оккультизма» знакомит читателя с редкостным масонским изданием – переводом мистического шедевра XVII в. «Херувимский странник».

История доктора Джона Фаустуса. 40 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. II).

Впервые на русском языке – перевод народной книжки о знаменитом чародее и некроманте докторе Джоне Фаустусе, изданной в Англии в 1787 году.

Роман Шмараков. Под буковым кровом. 208 с., илл.

В этой книге доктор филологических наук и прекрасный переводчик античной поэзии Р. Шмараков представляет свои прозаические опыты – семь изысканных и стилистически безупречных новелл, действие которых переносит

читателя из древней Греции в Германию XVIII века, Италию времен Ренессанса и Россию «дворянских гнезд» века девятнадцатого.

Витрина издательства:

http://stores.lulu.com/store.php?fAcctID=27921643